

Дипломаты и дипломатия в романе Л.Н. Толстого “Война и мир”

Стилистические приемы изображения

Г.Д. УДАЛЫХ,
кандидат филологических наук

Исследователи творчества Л.Н. Толстого отмечали его необыкновенное мастерство в изображении сцен армейского быта и психологии человека на войне. Сразу же после выхода “Войны и мира” известный писатель М.И. Драгомиров писал, что этот роман должен стать настольной книгой каждого офицера.

Однако остались без внимания страницы романа, описывающие дипломатическую деятельность героев. Она не была подробно освещена Толстым, но заслуживает, на наш взгляд, отдельного рассмотрения.

При изображении этой сферы деятельности героев Толстой использует прием стилизации военных и дипломатических документов, вводит дипломатические термины, дает меткие речевые характеристики дипломатов. При этом писатель постоянно меняет стилистическую тональность изложения: от строго документального до иронически-насмешливого.

Дипломатическая деятельность в романе предстаёт опосредованно, через восприятие персонажей: сведения о переговорах, аудиенциях послов, составлении и подписании различных документов, встречах глав тех или иных государств содержатся в **репликах** (Анна Павловна Шерер – князю Василию: “Ну, что же решили по случаю депеши Ново-

силыцева?” (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 12 т. М., 1987. Т. 3. С. 158; далее – только том и стр.); Пьер Безухов – Борису Друбецкому: “Ну, что вы думаете о Булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придётся, ежели только Наполеон переправится через канал?” – 3,220); в **обстоятельных беседах** (разговор Пьера с аббатом о политическом равновесии в Европе – 3,170; дискуссия дипломата Билибина с Андреем Болконским о предположительном дипломатическом союзе России с Пруссией и об австрийском проекте тайного мира – 3,346–347; речь Наполеона во время встречи с послом Александра I генералом Балашевым – 5,28–30); в **письмах** (письмо Билибина Андрею Болконскому – 4,99; письмо Александра I Наполеону – 5,17).

Героями “Войны и мира” были как реальные дипломаты (Н.И. Новосильцев, А.И. Марков (Морков), А.А. Чарторыйский (Чарторижский), А.К. Разумовский), так и вымышленные лица (Билибин, Ипполит Курагин, безымянные дипломаты). В своём разъяснении читателям Толстой писал: “Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных имён с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо (...) лица совершенно вымышленные и не имеют даже для меня определённых первообразов в предании или действительности” (6,516–517).

Одним из вымышленных героев Толстого является дипломат Билибин. Он умён, образован, сделал блестящую дипломатическую карьеру: в 35 лет – уже опытный чиновник, начавший служить с 16 лет. Им дорожил сам канцлер: “Он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать (...) Он работал одинаково хорошо, в чём бы ни состояла сущность работы” (3,343).

Билибин не наделён именем: это своего рода знак социальной общённости. В то же время Толстой придаёт ему индивидуальные черты: он остроумен, обладает прекрасным слогом, обласкан в светском обществе. Билибин склонен считать себя его избранным членом, он ощущает своё превосходство над “ничтожными светскими людьми”. Ему не чуждо самолюбование: писатель передает это, стилизуя билибинскую речевую манеру.

Реальные исторические лица вступают в романе в отношения с вымышленными героями Толстого: упоминание о них, их близость или столкновения служили для писателя стилистико-характерологическим приемом. Например, князь Андрей Болконский перед Аустерлицким сражением случайно встречается с министром иностранных дел Адамом Чарторижским и далее следует его оценка персонажем: “– Вот эти люди, – сказал Болконский со вздохом, который он не мог подавить (...), – вот эти-то люди решают судьбы народов” (3,467). Здесь опосредованно даётся негативная характеристика дипломата, который в реальной жизни оказывал влияние на политические взгляды Александра I. После Аустерлицкого поражения царь охладел к Чарторижскому и его политическим идеям.

В другом эпизоде князь Долгоруков рассказывает анекдот о русском посланнике графе Маркове, когда тот не захотел поднять платок, нарочно брошенный Наполеоном. Долгоруков говорит: “Только один граф Марков умел с ним (Наполеоном. – Г.У.) обращаться” (3,466). Действительно, граф Марков – русский посланник в Париже в 1801–1803 годах – отличался твёрдым характером и неуступчивостью. Это обстоятельство чрезвычайно не нравилось Наполеону: он даже требовал отозвать русского посланника.

При работе над романом Толстой изучил большое количество исторических источников, из которых, по его словам, у него составила́сь целая библиотека: Михайловский-Данилевский А.И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном, в 1805 году. СПб., 1844; Он же. Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб., 1839. Ч. I–II; Богданович М.И. История Отечественной войны 1812 года. СПб., 1859. Т. I. и др.

Присутствие в романе подлинных документов придавало повествованию правдивый характер. Будучи вплетёнными в прямую и несобственно-прямую речь героев, они становятся характеризующими, служат для выражения авторской иронии, насмешки, сарказма над происходящим. Так, в письме Билибина к Андрею Болконскому художественная достоверность переплетается с достоверностью исторической, поскольку в него включены фрагменты подлинных документов. Толстой создаёт как бы инкрустацию из нескольких писем и донесений 68-летнего главнокомандующего русской армией в 1806 году М.Ф. Каменского, который находился в отставке и был назначен на этот пост Александром I против своего желания.

Письмо Билибина начинается следующим замечанием: “Со времени наших блестящих успехов в Аустерлице (...) я не покидаю более главных квартир” (4,101; курсив наш. – Г.У.). Здесь наблюдается явное переосмысление исторического факта и его ироническая трактовка. Затем следует язвительная шутка Билибина: “Мы вовлечены в войну (...) за прусского короля...” (Там же). В ней содержится своеобразная игра слов: по-французски “за прусского короля” pour le Roi de Prusse означает “по пустякам”. Ранее Толстой вложил эту шутку в уста дипломата Ишполита Курагина, который слышал её в Вене (4,93–94). Популярность остроты в дипломатических кругах служит косвенным подтверждением официального мнения по поводу сложившейся политической ситуации.

Письмо Билибина выполняет важную композиционную эмоционально-экспрессивную функцию: глазами дипломата Толстой стремится показать слабость и недалёкозоркость политики Александра I. Следует заметить, что писатель постепенно “снимает покровы” с образа императора, который предстаёт в его сознании, как человек, “нечаянно пригёртый славой”.

Автор романа отмечает особенности стилиевой манеры Билибина, который, “хотя и на французском языке, с французскими шуточками и оборотами речи, но с исключительно русским бесстрашием перед самоосуждением и самоосмеянием описывал всю кампанию (антинаполеоновскую. – Г.У.). Он мог изливать всю желчь, накопившуюся в нём при виде того, что творится в армии” (4,99–100). Там, где говорится о назначении главнокомандующего русской армией, Билибин использует слова с контекстуальным значением (“штучка” – главнокомандующий, “комедия” – его назначение).

В дальнейшем Толстой не раз возвращается к метафорам, связанным с неестественным проявлением чувств или ложной самооценкой: появляется тема игры, “театра” («Когда на бале Кутузов, по старой екатерининской привычке, при входе государя в балейный залу велел к ногам его повергнуть взятые знамёна, государь неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некоторые слышали: “старый комедиант”» – 6,216); “... этот человек (Наполеон. – Г.У.), в одиночестве на своём острове, играет сам перед собой жалкую комедию ...” (6,260). Наполеон вообще характеризуется как утончённый и хитрый дипломат, в котором соединяются “французская ловкость и итальянское актёрство” (3,466).

Прием метафорической характеристики особенно проявляется в сценах, связанных с дипломатом Ипполитом Курагиным. Здесь Толстой прибегает к способу контраста, который служит ему для выражения иронии различных оттенков.

Ипполит Курагин – сатирический антипод Билибина. В отличие от него Курагин лишён каких-либо умений – и практических, и профессиональных. Князь Василий, отец Ипполита, говорит: “Я сделал для их (сыновей. – Г.У.) воспитания всё, что может отец, и оба вышли *des imbéciles*” (дурни. – Г.У.: 3, 161).

Речь Билибина утончённа, остроумна, Курагин же не может повторить услышанную шутку. Если у Билибина лицо чрезвычайно подвижно, то у Курагина оно “сжималось как будто в одну неопределённую и скучную гримасу” (3,169). “Милый Ипполит” был поразительно дурён собой, лицо его было отуманено идиотизмом: по мнению собственного отца, Ипполит – покойный дурак (3,161).

Дипломаты воспринимают Курагина как шута, “угощают” им (“Он прелестен, когда рассуждает о политике, надо видеть эту важность” – 3,350). Ипполит – человек, который всегда и везде “не к месту”. Это проявляется во всём: в его манере говорить невпопад, в несоответствии самоуверенного тона и косноязычия, физической слабости и репутации ловеласа. Представляя этого персонажа читателям, Толстой подчёркнуто ставит в один ряд разные по смыслу понятия, например, говорит об особенностях речи и о модном наряде (“Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень

глупо то, что он сказал. Он был в тёмно-зелёном фраке, в панталонах цвета *cuisse de nymphe effrayée* (тела испуганной нимфы), как он сам говорил, в чулках и башмаках” – 3,170); “Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток, и, пугаясь в нём, побежал на крыльцо за княгиней (...) – *Princesse, au revoir*, – крикнул он, пугаясь языком так же, как и ногами” – 3, 183).

Неожиданное нарушение писателем логики обнажает суть комического противоречия, заключённого в образе Ипполита. Создаётся впечатление, что Толстой сознательно примеряет к нему разные роли (достойного сына, остролова, галантного кавалера), с которыми тот не справляется. Дипломатическая деятельность – особенно неудачная роль Ипполита Курагина.

А вот как Толстой пишет о чувстве групповой принадлежности, свойственной дипломатам: “В кабинете находились четыре господина дипломатического корпуса. (...) Господа, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и весёлые люди, составляли (...) здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл *notre*, *les nôtres*. В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы” (3,349). Авторский курсив имеет смысловое значение: философия этой категории людей, их словесные привычки, язык – всё являлось признаком их “отчуждённости” от других членов общества.

Об этом же можно прочитать у известного дипломата Ю.Я. Соловьёва: “Большая близость между дипломатами часто заставляла наиболее молодых из них чересчур увлекаться этим определённым кругом знакомства, относиться с известной пренебрежительностью к местному обществу и позволять себе посмеиваться над ним между собой” (Соловьёв Ю.Я. Воспоминания дипломата. 1893–1922. М., 1959. С. 130).

В свою очередь Ф.Ф. Вигель, мемуарист XIX века, отмечает в своих воспоминаниях, что молоденькие служащие коллегии иностранных дел казались существами привилегированными. В московских обществах, на московских балах “архивные юноши” очень долго заступали место екатерининской гвардии сержантов (Вигель Ф.Ф. Воспоминания. М., 1864. Т. 1. С. 169). Не случайно Андрей Болконский спрашивает у Пьера Безухова, ставшего богатым наследником: “Кавалергард ты будешь или дипломат?” (3,184).

Дипломаты у Толстого говорят только по-французски: этот язык, знакомый им с детства, для них рабочий, кастовый и сословный. “Он (Билибин. – Г.У.) продолжал всё так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть” (3,344). А князь Ипполит Курагин, секретарь посольства, говорит “по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробыв-

шие с год в России” (3,180). Он был так косноязычен, что друзья-дипломаты иронически сравнивали его с Демосфеном (“Демосфен, я узнаю тебя по камню, который ты скрываешь в своих золотых устах!” – 3,350).

В речи Билибина встречаются галлицизмы: *делать нововведение* (3,347), “так думают *большие колпаки*” (буквальный перевод французского выражения *grands bonnets* – “большие начальники”. – Там же). Его же русская речь полна французских вкраплений: “... армия разбита, столица (Вена. – Г.У.) взята, и всё это *roug les beaux yeux du* (ради прекрасных глаз) сардинское величество. И потому *entre nous, mon cher* (между нами, мой милый), – я чутьём слышу, что нас обманывают...” (3,348). При этом Билибин любил, когда “разговор мог быть изящно-остроумен”. Речь свою он пересыпал “оригинально остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес” (3,343–344). И радовался, когда у него рождался очередной *mot* – даже во время драматического рассказа Болконскому о занятии французами Вены он “не был приостановиться после *mot*, чтобы дать время оценить его” (3,355).

С одной стороны, *mots* Билибина – своеобразная дань моде, а с другой, – они не были лишены политической прозорливости: не случайно именно Билибин говорит, что пришло время избавить Наполеона от *и*. Острота заключалась в том, что дипломат отважился императора французов назвать по-французски (в русских великосветских кругах презрительно подчёркивали корсиканское происхождение Наполеона, называя его на итальянский лад Буонапарте). После Тильзитской встречи (1807) Наполеон был назван Бонапартом, императором Франции.

К тому же речь Билибина образна, иронична, полна сравнений, эпитетов (“Сержант, который, видно, был умнее своего генерала...” – 3,355; “Пруссаки – наши верные союзники, которые нас обманули только три раза в три года” – 4,101; “Фельдмаршал сердится на государя и наказывает всех нас: это совершенно логично!” – 4,104). Дипломат сравнивает маршалов Наполеона, которые обманным путём перешли через Таборский мост в Вене, с тремя мушкетёрами (“Господа маршалы: Мюрат, Ланн и Бельяр, садятся верхом и отправляются на мост. (Заметьте, все трое гасконцы.)” – 3,354). Авантюризм всей этой операции, как и авантюристический характер самого Наполеона – вот то обстоятельство, которое позволило Толстому ввести образы из романа А. Дюма “Три мушкетёра”, написанного гораздо позже (в 1844 году).

В романе широко использована лексика, характерная для языка дипломатов от петровского времени до середины XIX века: *ambassador* – посол, *d'estime* – уважение, *discretion* – скромность. Салонный стиль начала XIX века запрещал использование специальных и профессиональных слов, но естественное двуязычие русских дворян приводило к тому, что некоторые из них употреблялись в высших кругах. Любопытно

введение Толстым слова *дипломат* в исторический контекст 1805–1806 годов. Между тем, это слово, пришедшее из французского, в современном значении “лицо, занимающееся дипломатической деятельностью” в начале XIX века только начинает прививаться на русскую почву, преимущественно в профессиональной среде. Впервые же оно было отмечено в Энциклопедическом лексиконе 1839 года.

Писатель, прекрасно осознавая “модный” характер этого слова, расширил сферы его функционирования: оно звучит в салонах Анны Павловны Шерер и Элен Безуховой. В ряде случаев его заменяет синонимическое выражение *дипломатический чиновник* (“Билибин находился теперь в качестве дипломатического чиновника при главной квартире армии...” – 4,99), хотя в языке того времени в ходу был его синоним *дипломатик*.

Соотношение слова *дипломат* с контекстуальным синонимом *чиновник* восстанавливает ранее существовавшую внутреннюю связь этих слов, проявляющуюся в семантической обобщённости: *дипломат* “служащий по дипломатической части” (Биржакова Е.Э., Войнова А.А., Кутина Л.А. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972. С. 359).

Со словом *чиновник* у Толстого связаны определённые ассоциации: его введение стилистически “снижало” впечатление об особой социальной роли дипломатов, которые “обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски для того, чтобы быть очень хорошими дипломатами...” (3,343).

Дипломат у Толстого предстаёт и в переносном значении, как “тонкий, хитрый человек”. Однако переносное значение слова возникло значительно позднее. См. у В.И. Даля: *дипломат* // человек тонкий, скрытный, изворотливый (Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1863. Т. I. С. 437). И тогда Толстой контекстуально поясняет это через соотношение со словом *тонкости* в значении “хитрость” (“– Я не виноват, что разговор зашёл при других офицерах. Может быть, не надо было говорить при них, да я не дипломат. Я затем в гусары и пошёл, думал, что здесь не нужно тонкостей...” – 3,320).

Не случайно, что слово *дипломат* в переносном значении не всегда семантически определено. Обратимся к тексту: “– Наталья Ильинична очень хорошо со мной обходится, – сказал Борис. (...) – Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово *дипломат* было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, – сказала Наташа оскорблённым, дрожащим голосом” (3,210).

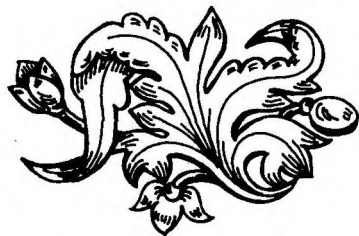
В начале XIX века слово *дипломатический* использовалось только в словосочетании *дипломатический корпус*, то есть “министры иностранных дворов, находящиеся при каком-либо государе”. И хотя переносное значение слова в это время только формировалось, у Толстого

находим и *дипломатический корпус*, и *дипломатические тонкости*, и *дипломатический салон*, и *дипломатическое искусство*. В таких случаях он вводит в контексты слова-пояснения (“Вера (...) нашла, что на вечере (...) необходимо нужно, чтобы были тонкие намёки на чувства (...) Ей нужно было с таким умным (каким она считала князя Андрея) гостем приложить к делу своё дипломатическое искусство” – 4, 223; “– Я вам признаюсь, что не понимаю, может быть, тут есть дипломатические тонкости выше моего слабого ума...” – 3,345).

В романе встречаются и другие дипломатические термины (нота, соглашение, договор, поверенный в делах, аудиенция), которые служили средством характеристики и типизации героев, представителей дипломатической среды. Они непосредственным образом включались в систему изобразительно-выразительных средств авторского повествования и в речь героев. Характеристика героев-дипломатов во многом обусловлена социально-психологическими обстоятельствами их профессиональной деятельности.

Баку
Азербайджан





О языке поэмы А.Н. Майкова “Странник”

П.А. ГАПОНЕНКО,
кандидат филологических наук

Живой, устойчивый интерес А.Н. Майкова к отечественной истории нашёл художественное воплощение, в частности, в поэме “Странник”, первой части так и не осуществлённого замысла большой поэмы “Жажущий”.

“Странник” был закончен не позднее 3 декабря 1864 года – в этот день поэт читал его на вечере Литературного фонда. Поэма имела успех, получила высокую оценку у Ф.М. Достоевского, назвавшего её “шедевром из всего того”, что написано Майковым. “Я слышал её на разных чтениях (в домах), – свидетельствовал он, – и не устаю слушать, но каждый раз открываю новое и новое. Все в восторге” (Лит. наследство. 1973. Т. 86. С. 130).

Поэма Майкова была посвящена Ф.И. Тютчеву и напечатана в “Русском вестнике”, в первой книжке за 1867 год. В журнальных примечаниях, а также в автографе предисловия к ней (сохранился в архиве поэта) автор указал на источники поэмы, в частности, на труды С.В. Максимова, П.И. Мельникова, П.В. Киреевского. Сюжеты и образы, почерпнутые Майковым из рукописной раскольничьей литературы, поразили его воображение необычной поэтичностью и проникновенностью. Ему казалось, будто он воочию видит эти картины, и настолько ясно, что он мог бы их нарисовать...

В “Страннике” отразились взгляды Майкова на своеобразный мир сектантства, на одну из “беспоповщинских сект”, которая, как он заметил, составляла “крайнюю точку отрицания в расколе”. Захваченный “поэтическими красотами” далёкой старины, преданиями “людей древляго благочестия”, Майков попытался, насколько мог, воспроизвести их “в новой, нынешней форме поэзии” (Майков А.Н. Избр. произведения. Л., 1977. С. 847; далее – только стр.).

В “основание” своей “сцены” – так поэт определил жанровую при-

роду “Странника” – он взял рассказ П.И. Мельникова-Печерского “Гриша” (1860). Рассказ этот любопытен разнообразными портретами старообрядцев. Но не они только привлекли внимание Майкова, и не колоритные бытовые детали повести, и не эпизод “искушения” Гриши любовной страстью – его интерес сфокусировался преимущественно на духовном облике героев, на поисках ими Бога.

Многие образы из рассказа Мельникова-Печерского получили в “Страннике” подлинное художественное развитие. В одних случаях Майков освобождал исходный образ от излишних, как ему казалось, штрихов и подробностей, добиваясь поэтической выразительности, динамичности и свежести. В других, – напротив, домысливал недостающие детали, дорисовывал тот или иной “заимствованный” образ. Поэт стремился к максимальной точности и достоверности портретной и психологической характеристики своих героев.

У Мельникова-Печерского инок Ардалион, рассказывая Грише о пути богоизбранных в “чудный град”, обстоятельно разъясняет, как он должен при этом вести себя. Чтобы уберечь юношу от искушения соблазнами, инок, упреждая, нанизывает, как бусинки на нитку, одну “устрашающую” подробность на другую:

“Никому в мире не поведавши, ни отцу ни матери, ни роду ни племени, творя лишь послушание наставника, ступай тропой Батыевой – иди, тщетного в себе не помышляя и о том, чтоб вспять возвратиться, не думая... Будешь терпеть лютый глад, будешь терпеть мразный хлад, – иди тропой Батыевой, – пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град... Нападут звери лютые, наскочит на тебя змея подкодная, – иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град”. Не довольствуясь этим, инок пространно перечисляет всевозможные искусы и препятствия на пути богоизбранного: “Восстанет буря великая, хлынут на тебя ручьи дождевые, заскрипят по лесу сосны столетние, повалятся деревья буреломные...”, “накинутся лютые демоны, нападут на тебя змеи огненные, окружат тебя эфиопы чёрные, заградит дорогу сила преисподняя...” (Мельников П.И. (Андрей Печерский). Собр. соч.: В 8 т. М., 1976. Т. 1. С. 319; далее – только стр.).

Конечно, Майков отошёл от детального перечня всех этих ужасов и козней дьявольской силы, иначе он уподобился бы заурядному стихотворцу, низведшему поэзию до уровня калки. В поэме использовались лишь некоторые, наиболее впечатляющие из “дьявольских страхов”:

Претерпишь хлад и глад. Зверь нападёт
И змии на тебя. Восстанет буря.
И бесы на тебя наскочут, с пёсией
Главою, с огненными языками,
И эфиопы чёрные, как уголь!
Ты всё ж иди вперёд и богомысли!
И победишь все дьявольские страхи... (484)

Поэт, в отличие от прозаика, придаёт демонической силе более устрашающий, “материализованный” вид: не просто бесы, а бесы *с пёсвей главою, с огненными языками*, не просто чёрные эфиопы, а *эфиопы чёрные, как уголь*. В результате эпизод приобрёл художественную цельность и выразительность, и не была погублена живая душа поэзии.

Столь же осторожно и бережно поступает автор “Странника” и в дальнейшем: при описании Кирилловых гор, разверзающихся перед “благочестивыми” людьми; изображая приозёрный невидимый Китежград, в котором “люди блаженные” живут “жизнью беспечальной”; говоря о “церкви божией”, что перешла в лес из людных мест. Поэт и здесь соблюдает меру, отказываясь от многих деталей, которыми изобилуют перечисленные фрагменты в повести “Гриша”, довольствуясь лишь несколькими, но характерными штрихами.

Майкову удаётся достичь художественного эффекта и тогда, когда в своих описаниях он *почти* повторяет Мельникова-Печерского. Но именно *почти*. Таков, например, фрагмент из монолога его Странника, восходящий к Священному писанию и обнаруживающий ризительное сходство с текстом “Гриши”:

В Писании стоит ведь явно: “Выидут
В селенья праведных и сластолюбцы,
И блудники, и тати, аще добрым
Очистятся постом и покаяньем,
Но в оное не выидет ни богатый,
Ни еретик” (466)

Ср. с монологом Ардалиона: “... выидут в селения праведныя и тати, и разбойники, и блудники, и сластолюбцы, аще добрым покаянием, постом и молитвою очистят грехи свои; не выидут же токмо еретик и богатый...” (312).

Исходя из художественной целесообразности, поэт, как правило, наделяет исходные образы “своими” деталями. Он “расцветчивает”, например, описание пустыни – прибежища душевного спасения. Получается живописный и предельно выразительный образ. В повести “Гриша” подобного описания не встречаем.

В пустыньку б бог сподобил
Укрытися! Там райское-то есть
Веселие! Поют тебе там пташки!
Пустынька вся нарядится цветами!
Студён ручей с горы крутой падёт...
Сиди над ним!.. А круг – густые ели...
И пташка тут на камешек же сядет
И крылушки полощет... Так-то любо! (470)

“Странник” не поэтическая версия рассказа Мельникова-Печерского, не его “перелёв”. Заимствуя сюжет, Майков создаёт произведение

глубоко оригинальное, отмеченное печатью высокого таланта, сумевшего в запоминающихся образах запечатлеть поиски староверцами “праведной” жизни. В художественном произведении, как заметил по другому поводу В.Г. Белинский, дело не в сюжете, а в характерах, в красках и тонах повествования. Майков “расшил” канву чужого сюжета собственным, красочным узором.

В соответствии со своим замыслом поэт “отсекал” многие бытовые сцены источника, вводил новые эпизоды (фрагменты с нищим, поджог купеческого дома), включал обильные цитаты из “Посланий” Аввакума, других духовных сочинений. В “Страннике” появились персонажи, отсутствующие в рассказе Мельникова-Печерского (московские митрополиты Иона и Алексей, монахи Савватий и Гурий и др.). Значительно усилен, по сравнению с исходным текстом, мотив пагубного влияния денег на человеческую душу. В “Грише” этот мотив прозвучал общо и приглушённо: “Сила днешняго антихриста – деньги. Ими всё творится пагубы ради человеческой...” (321). Протест против поклонения денежному богу в поэме Майкова выражен резче и выразительнее:

Деньги, сыне, деньги!
 Погибель вся от них! Они и есть
 Мошна в сети, в которую, что рыбу,
 Вас дьяволы шестью загоняют,
 А вервья другие бесы тянут
 Ко берегу, он же ад, а сатана
 В аду-то у окна сидит и рад,
 Что тяжело идёт треклятый невод,
 Что бесы-то потеют и пыхтят
 От бремени! (468)

В “Страннике” шире развёрнута картина людских пороков, порождённых безверием. Гневно обличает заглавный герой кощунственные поступки патриарха Никона, приписываемые ему раскольничьими легендами. Суровому осуждению подвергает он Андрея Денисова – одного из руководителей раскола, занимавшегося торговлей (“Он всю-то жизнь антихристу работал, / В империи торги-то разводя. / С него вот и пошли купцы-тузы...” – 467). “Антихрист” представлен у Майкова в виде “великого змия”, обвинившего вселенную.

От змея народились
 Змеёныши; чуть вылезли из яиц –
 И выросли, и стали жрать друг друга,
 И своего отца грызут, – и все
 В единый клуб свились, дышащи злобой
 И лютоги огнём распалены. (466)

И, как говорит Странник, “цитируя” Ардалиона из рассказа Мельникова-Печерского, “благодать давно взята на небо!” (463), “Растлена зе-

мля/Людьми уже на тридцать сажен вниз!” (470). Единственный путь душевного спасения – порвать общественные и семейные узы и бежать в пустыню.

Как и Мельников-Печерский, автор “Странника” среди приверженцев “древляго благочестия” ищет тех, кто всей душой любит и верит в Бога, служит ему верой и правдой. И в рассказе, и в поэме такие истинно “верующие” как будто есть. Это и покровительница Гриши, хозяйка дома, которая на самом-то деле скорее поклоняется деньгам, что хранит в сундуке – и не где-нибудь, а прямо в моленной. Это и сам Гриша, юный келейник, всем сердцем и умом внимающий древним сказаниям о подвигах преподобных отцов. Однако в поисках “истинной веры” он доходит до полного иступления. И майковский Странник, тоже не “без греха” – изобличая власть денег, он, вместе с тем, не предаёт их огню, как векселя и именные бумаги. Обращаясь к Грише, он говорит:

Тут векселя... бумаги именные –
В огонь, в огонь!.. А это взять покамест.

Следует авторская ремарка: “*Суёт в сумку пачки денег*”. (488)

Автору поэмы удалось глубоко проникнуть в своеобразный мир сектантства и его последователей, упорных в своём фанатизме и духовных поисках. Выразительно изображён змий, днём принимающий облик патриарха Никона, а ночью – истинный вид. По ночам он подползает “ко храмину царевой”, подымается по лестнице до окна и кладёт свою голову на плечо великому царю, нашёптывая ему лестные слова (“И так он был огромен, что лежал / По лестнице всем туловищем тёмным, / А хвост ещё из патриаршей сени / Не вылезал” – 465).

Как живые встают перед нами “старцы”, скрывающиеся в Кирилловых горах и воссылающие “к всевышнему” сердечные молитвы. Благодаря точной метафоре их молитвы становятся зримыми, осязаемыми:

“И, егда ночь, сия молитва зрима:
Из уст их огненным столбом восходит
Она на небеса, и всей стране
В то время свет бывает от неё,
И можно честь без свещного сиянья”. (481)

“Освежающие” сравнения открывают нам радостный и лёгкий мир. О *серебряном и чистом* звоне колокола сказано: “И словно как не колокол гудит, / А ровно что небесная лазурь / Сама звенит” – 484). Не случайно этот образ “изумляет” Гришу, исторгая из его груди восторг: “Хрустальное-то небо!”. Душа “святого мужа” Гурия блистает “премудростью творца, / Как солнцем озарённое зеркало” (472).

В текст поэмы Майков вводит языковые реалии, которые давно выпали из речевого обихода, но без которых не обойтись писателю, изо-

бражающему ушедшую эпоху: *убрус, ферязь, партесное пение, пестряки, лестовка, охабень, бурак* и др., или архаизмы, которые понятны (или почти все понятны) и нам, сегодняшним, не говоря уже о современниках Майкова: *отверзи, брада, егда, узрит, купно, се, внидут, особливый* и т.д. Не скупится Майков на просторечные слова и обороты: *нешто, ишь, круг* (в смысле: вокруг), *аль, валандаться, тамо, заруби* (в смысле: запомни), *вот я ж вам дам ломаться надо мною!, чтобы ей пусто было!, хлеб-соль водил.*

Для создания эмоционального настроения Майков использовал следующие слова и словосочетания: *Воистину, так!* (вместо: Да! Верно!), *обретёшь пространное житье, трудами собрана земля, творить их волю, доколе, блаженство жития*; такие, например, архаические формы управления: *отрекися бога; чтоб в ужасе и зверь и человек тебя бежал; дух рвётся в небеса пред светлый лик твой.* Однако при этом поэт проявлял чувство меры, которое уберегло его от густой архаизации языка.

В заключение более подробно остановимся на одном важном фрагменте поэмы, раскрывающем тонкое умение поэта выстраивать движения человеческих душ. Ситуация такова: воображение Гриши воспалено рассказом Странника о прелестях “райской” жизни в пустыне, чтением книг о святых старцах. Жаждающий “света”, он торопит Странника стать его наставником, взять “на послушанье”, “укрыться” в пустыне. “Когда же мы пойдём?” – нетерпеливо вопрошает он. На это странник:

Когда пойдём...

Да ты тут у хозяйки как живёшь?

Ты по дому ей нужен?... И она

Тебе во всём ведь верит!.. Ты и ночью

В моленной поправлять лампадки ходишь? (476)

Странник испытывает Гришу, не торопится с ответом, виляет. “Когда пойдём...” – фраза эта, произнесённая им с многоточием, с нисходящей интонацией и как бы машинально, лишь вторит вопросу Гриши. Мысли Странника сейчас сосредоточены на сундуке с деньгами, что находится в моленной. Хватит ли у Гриши душевных сил и мужества побороть “антихриста”, устоит ли он перед искушением?.. Странник вместо ответа задает “прощупывающие” вопросы: “Ты и ночью/ В моленной поправлять лампадки ходишь?” На что юноша отвечает: “Хожу”. И далее: “**Странник.** А там и сундуки стоят, / И деньги в особливом сундуке? – **Гриша.** И деньги. – **Странник.** Так. И невелик сундук? – **Гриша.** Да, невелик. – **Странник.** Спohватится, и станут / Искать тебя. – **Гриша.** Да я ж уйду не тайно” (476).

Наивный келейник не понимает, чего от него хотят: “Да я ж уйду не

тайно”. Зато хорошо понял юношу Странник – Гриша ещё не готов к тому, чтобы взять его “на послушанье”:

Странник

(запальчиво)

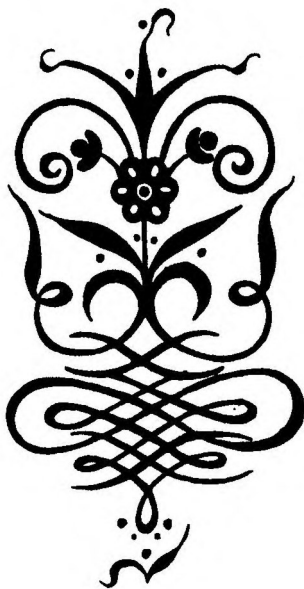
А я б тебе сказал: пойдём сейчас!
Не знаешь, что такое послушанье?
Ты должен всё оставить и идти.
Наставник – голова, а ты – рука!
Сказала голова, рука и делай! (477)

Далее Странник снова испытывает Гришу, заставляя его плясать и петь “бесовскую” песню. Рассказывает ему о старцах с Кирилловых гор, о “славном Китеж-граде”, ворота которого открыты только тем, кто победит в себе “все дьявольские страхи”, и т.д. – этими рассказами Странник как бы “закаляет” волю Гриши. Тот падает перед ним на колени со словами, что он готов идти “на смерть”, “на муки”. После долгих раздумий Странник *решительно* (авторская ремарка) говорит: “Взаправду ли готов ты всяко бить / Антихриста? Еретики бо суть!...” (486). Гриша *горячо* (авторская ремарка) восклицает: “Еретика убить ведь можно?” (487), чем, собственно, и доказывает, что теперь уже он вполне созрел “для послушанья”.

Диалог героев так искусно выстроен, речь их столь выразительна и богато интонирована, что, кажется, нетрудно улавливать все их душевные движения и психологические состояния, можно даже увидеть смену выражений их лиц, чему в значительной мере помогают умело введённые в текст авторские ремарки.

Ф.М. Достоевский имел все основания назвать драматическую поэму о раскольниках “Странник” шедевром из всего созданного Майковым. Поэт как бы перенёс родную старину на живописное полотно и тем самым приблизил её к благодарным читателям.

Орёл



ОБ ОДНОМ СТИЛИСТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ А.П. ЧЕХОВА

*Н.С. АВИЛОВА,
доктор филологических наук*

Известно, что А.П. Чехов психологизировал природу, животных. Об этом много писали ещё тогда, когда были впервые опубликованы такие его произведения как “Степь”, “Каштанка”. Писали даже о пантеизме Чехова, об обожествлении им природы.

Действительно, характерной особенностью художественного видения Чехова является очеловечивание животных, а вследствие этого описание их поведения как существ, наделённых психологией, разумом и чувствами человека. Так, у Чехова “лошади подозрительно поглядели на Дениску” (“Степь”, гл. I); в писке бекасов “слышались тревога и досада, что их согнали с ручья”; “Грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, (...) равнодушно (...) долбили своими толстыми клювами чёрствую землю”; “чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу...” (Там же. Гл. II); караси и щуки “находят возможным жить в холодной воде...” (“Почта”); “они [овцы] стояли и, опустив головы, о чём-то думали” (“Счастье”) и т.д.

Особенно наделяются человеческой психологией в произведениях Чехова собаки: “Большая белая собака (...) вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет?” (“Степь”, VII); “... от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака” (Там же. Гл. VIII).

Всем известна знаменитая Каштанка, по поводу которой ещё современники писали: “... после его [рассказа] чтения, встречая собаку, забываешь, что она собака, а не Ваша мыслящая Каштанка”; в письме другого корреспондента: “Не были ли Вы когда-нибудь, в периоде метампсихоза, Ив(аном) Ив(ановичем), Фёд(ором) Тим(офеичем), Тёткой...” (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1985. Т. 6. С. 703). Действительно, именно в Каштанке чувства собаки чрезвычайно очеловечены: “училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом (...) доставляли ей величайшее наслаждение”; “она потеряла к нему всякое уважение”; “...ложилась на матрасик и начинала грустить...” (“Каштанка”, гл. 5); “Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идёт за ними” (Там же. Гл. 7).

В более поздней повести “Белолобый” психологически тонкая организация волчихи как бы противопоставлена наивности и глупости щенка: “Волчиха думала, что (сторож падает) от ветра...”; “подходя к зимовью, она соображала...”; “она вздрагивала от малейшего шума...”; “... была слабого здоровья, мнительная...” и т.п. Щенок же характеризуется такими определениями, как: невежа, простой дворняжка; “на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак”; “выражение всей морды чрезвычайно глупое”.

Интересен один прием, применяемый А.П. Чеховым для психологизации животного, героя его произведения. Это употребление 2-го лица единственного числа глагола в обобщённо-личном значении. В прямом значении форма 2-го лица единственного числа показывает, что действие относится к собеседнику. В формах: *ты пишешь, ты гуляешь* имеется в виду обращение к конкретному лицу – собеседнику. В предложениях типа: *что посеешь, то и пожнёшь; упустишь огонь – не потушишь* и т.п. – 2-е лицо имеет значение обобщённо-личное, не конкретное. Это значение трактуется обычно как отнесение действия к любому лицу, любому субъекту. Более точным является принятое в настоящее время определение обобщённо-личного значения формы 2-го лица единственного числа глагола как соотнесение действия с **обобщённо-мыслимым собеседником**. В этом определении совершенно справедливо учитывается, что здесь в наличии непременно обращение к собеседнику, но не конкретному, а обобщённому, собеседнику “вообще”, однако именно к собеседнику, а не к любому лицу. Это предопределено самой формой 2-го лица.

У Чехова мы находим распространённую форму 2-го лица в обоб-

щённо-личном значении. Употребительна она в философско-лирических раздумьях о природе, например, в повести “Степь”: “... едешь-едешь, и никак не разберёшь, где она [степь] начинается и где кончается...” (“Степь”, гл. I); “Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха...”; “...взглянешь на бледно-зелёное, усыпанное звёздами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймёшь, почему тёплый воздух недвижим...”; “И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску...” (Там же. Гл. IV). Формой 2-го лица достигается вовлечение читателя в сферу повествователя, их доверительное общение.

В средствах психологизации животных обобщённо-личное значение формы 2-го лица единственного числа получает у Чехова особую выразительность; здесь эта форма как бы вовлекает животное в разговор с читателем, делает этого “героя” одним из обобщённо-мыслимых собеседников.

В повести “Каштанка”: “Тётка раньше никогда не боялась потёмок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. (...) Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тётка стала думать о том, как она сегодня ukrала у Фёдора Тимофеича куриную лапку...”; “Тётка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснёшь, тем скорее наступит утро” (“Каштанка”, гл. 6); “Тётка (...) мельком оглядела тот мир, в который занесла её судьба (...) Новый мир был велик и полон яркого света, куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего” (Там же. Гл. 7).

В рассказе “Белолобый”: “Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. (...) Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинает сильно щипать”.

Используя форму 2-го лица в обобщённо-личном значении, Чехов достигает иллюзии собеседования читателя с героем-животным, обобщает психологическую сферу читателя и животного, наделяя последнюю способностью думать и чувствовать как человек.



Лексические средства и национальный колорит в романе Ф. Искандера “Сандро из Чегема”

С.Л. МЕЛАМЕД

Художественную манеру национального писателя, создающего литературные произведения на русском языке, отличает стилевое своеобразие, что ощущается при самом поверхностном, “нефилологическом” чтении. На это неоднократно обращали внимание исследователи, в частности при оценке творчества одного из самых ярких писателей-билингвов нашего времени Фазиля Искандера. Так, Ст. Рассадин замечал: “В русской литературе у него положение особое. Он не просто абхазец, пишущий по-русски; он, став русским писателем, не перестал быть абхазцем. Колорит родного юга в его книгах уже не столько свойство материала, но свойство кисти. В превосходной русской речи Ф. Искандера живёт очень национальная, южная, кавказская интонация” (см.: Иванова Н.Б. Смех против страха, или Ф. Искандер. М., 1990. С. 6).

Какими же лексическими средствами Ф. Искандер передаёт в своей прозе национальный абхазский колорит, или особенности действительности, характерные для культуры, быта и традиций абхазов? Обратимся к его роману “Сандро из Чегема”, в котором широко представлены национально-языковые образы, ономастическая лексика, пословицы и поговорки, речевой этикет и др. Восточная специфика не чужда русской прозе, ориентализмы, в зависимости от степени их освоения русским читателем, могут выступать в тексте как стилистически маркированные, создавая особый языковой “фон” произведения.

Во многих случаях Ф. Искандер щадит своего читателя и следом за необходимой ему в художественных целях лексикой даёт соответствующий *русский эквивалент*:

“ – *Эртоба* значит единство, – ответил Миха, – он хочет, чтобы мы с ним были заодно”; “...возвращаясь из лесу с большой вязанкой дров на плече, подпёртой с другого плеча топориком-цалдой...”; “ – *Чада, чада!* (Осёл! Осёл!) – добавил он по-абхазски...” (Искандер Фазиль. Избранное: В 2 т. М., 1996. Т. 1. С. 85, 501, 432; далее – только том и стр.).

Кроме того, в романе встречается *безэквивалентная* лексика (чаще всего – тюркская, а также грузинская, армянская, абхазская), которую принято также именовать “региональной” (“регионализмы”). Это – речевые единицы, слабоусвоенные русским литературным языком, территориально ограниченные по употреблению и выражающие национально-специфические понятия и этно-культурные реалии, общие для проживающих на Кавказе народов. Их можно разделить на две группы. К первой принадлежит лексика, уже достаточно усвоенная русским языком и зафиксированная толковыми словарями (*аллах, абрек, шайтан, арба, мулла, янычар, мамалыга, мацони, кейф, кунак*). Сюда же можно отнести слова, ещё не учтённые большинством словарей современного русского языка, но хорошо известные русскоязычному читателю, например: *хачапури, хванчкара, чача, сациви, козинаки, кацо* и др. Как правило, подобные слова вводятся в текст напрямую, без авторского комментария: “Дядя Сандро, приезжая в город, обязательно захаживал к своему высокому кунаку, ценившему в нём лёгкость на ногу, когда дело касалось опасных приключений, и твёрдость в ногах при питье” (1,61); “Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски мяса, жареных кур, хачапури и другую снедь” (1,203); «Дружеский ужин с “хванчкарой” был в разгаре...» (2,231).

Однако степень знакомства с этой лексикой и составителей толковых словарей, и массового русскоязычного читателя – различна. Это показал проведённый мной мини-опрос. Тридцати респондентам, москвичам в возрасте от 20 до 65 лет, с высшим образованием (в основном педагогам) были предложены для “узнавания” слова иноязычного происхождения, взятые из романа Ф. Искандера, имеющие в большинстве словарей помету “региональное”, “используется на Кавказе” и т.п. В результате полученных ответов были выявлены три следующие группы: это слова, значения которых, по свидетельству опрошенных, они “точно знают”; слова, о значении которых они “догадываются”; и те, которые они “не знают совсем”. О значении слов *хачапури* или *сациви* были осведомлены практически все (100% и 82% соответственно), а вот слово *лобио* многие не знали вовсе (более 30%). Некоторых выручало лексическое окружение малоизвестных слов, определённо указывающее на их принадлежность к еде:

“Старушка накрыла стол чистой скатертью, потом принесла сыр, лобио, зелень, хлеб, кислое молоко в запотелых банках и чайные блюдца, наполненные пахучим мёдом” (1,25).

В других случаях подобная лексика никак не комментируется автором. А зачастую как раз определение значений таких слов вызывало или затруднения в ходе опроса (*гяур, хаиш, хурджин, аллаверди, ясак, чурчхели, калимера*), или о их значениях участники эксперимента в большинстве своём “догадывались” (*кацо, абрек, мушмала*):

“Родственники Омара всполошились: предадим огню дом этого гяура!” (2,300); “ – Нет, зачем, кацо, – стал ломаться Бахут, – если все слышали, я не буду рассказывать, но если люди не слышали – другое дело” (2,58).

Значение слова *гяур* в большинстве словарей – “человек иной веры”, но у Ф. Искандера это слово приобретает дополнительный негативный смысл, который выявляется из контекста повествования. Вот отец дяди Сандро ругает сбежавшего грабителя: “Знаю я их гяурские обычаи (<...> им лишь бы не работать...” (1,206). Затем уже знакомое читателю слово появляется вновь в похожем контексте: “ – Оказывается, этот гяур даже не умеет седлать мула”, о чём герой Искандера говорит “с тихой ненавистью” (1,246). После чего негативная эмоциональная окраска выступает всё более чётко, формируя читательское восприятие: “Но чтобы абхазская женщина взяла в руки ружьё и стреляла, да ещё в такое гяурское животное, как дикая свинья, такого порока мы, сынок, не потерпим” (1,517), и т.д.

Такой стилистический приём лексико-семантического освоения иноязычного слова в романе можно назвать “контекстуальным”, что наряду с дословным переводом малознакомых читателю слов является удачным художественным средством. Так, писатель, не утяжеляя повествование всевозможными сносками, авторскими комментариями и т.п., достигает простоты и внятности изложения. Иноязычное слово уже не выступает как нечто инородное, а гармонично сосуществует с другими реалиями, принадлежащими жизни и быту народов Кавказа, его природе. Подобным образом вводится слово *хурджин*, о знакомстве с которым заявили лишь 8% опрошенных:

“Впереди шёл, по-видимому, сам преступник – стройный молодой человек в черкеске и мягких азиатских сапогах. Одной рукой он придерживал перекинутый через плечо дорожный хурджин” (1,52).

Определение *дорожный* вызывает в памяти русскоязычного читателя устойчивое словосочетание “дорожная сумка”, которую в пути можно “перекинуть через плечо”. К тому же из текста вскоре выясняется, что эта сумка напоминает мешок, который завязывают: “ – Что это у него там шевелится? – спросил он у переводчика. Дядя Сандро закивал головой и стал развязывать хурджин” (1,53).

Более развёрнутых пояснений не требуется, слово обретает самостоятельность – процесс его лексико-семантического освоения читателем закончен. Со словом *мацони* сложнее (хотя о знакомстве с ним заявили около 70% опрошенных). В начале романа читатель из лексиче-

ского окружения узнаёт, что оно имеет отношение к еде и обозначает некий напиток на Кавказе: “Молоко и мацони сливал в корыто, а если резал четвероногого – бросал ему кусок сырого мяса” (2,134).

В следующей главе понятие уточняется с помощью авторского разъяснения: “В левом углу стояла кадушка для кислого молока, или мацони, как его у нас называют” (2,194). И, наконец, сообщается о традициях употребления этого популярного у кавказских народов, и особенно у пастухов, напитка: “Ледяное мацони с горячей мамалыгой довершил наш прекрасный пастушеский ужин” (2,194).

Заметим, что такого рода *лингвистический комментарий* как стилистический приём широко использовался ещё русскими классиками (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой) для изображения национальных реалий. Но вот примеры из романа Ф. Искандера: «Он заставлял его (коня) делать “чераз”, то есть скользить по траве, и многое другое» (1,366); “*Аталычество* – воспитание дворянских детей в крестьянских семьях – было обычным явлением” (1,435); “Хабугу тоже предлагали, но он всё отшучивался, отговаривался, делал вид, что у него на этот счёт какие-то особые сведения, свои вести, свой *хабар*, который вот-вот подтвердится, и тогда всё пойдёт по-другому” (1,127).

Слово *хабар* в последнем примере использовано Ф. Искандером в значении, не зафиксированном, в частности, 17-томным “Словарём современного русского литературного языка” (М.-Л., 1965. Т. 17. С. 1), где приведено: “устар., простор., – взятка, барыш”, – и поэтому требует комментария. В дальнейшем дополнительных разъяснений к регионализмам, как правило, не даётся. Как, например, в случае со словом *айран* (разбавленная водой простокваша): “Мы сидели у него во дворе на турьей шкуре в тени инжирового дерева, потягивая из гранёных стаканов холодный, кисловатый айран – смесь простокваши с водой” (1,451–452).

И далее в тексте: “Если б он бочку айрана поставил на арбу, я бы её тоже взял как вино” (2,62).

Эффект “многоголосья” возникает благодаря использованию исконно русской лексики, русской лексики иноязычного происхождения и собственно иноязычной активной лексики кавказских народов. При этом на протяжении всего романа писатель не забывает напоминать читателю, на каком языке ведётся диалог: “сказал (добавил и т.д.) по-абхазски, по-грузински, по-мингрельски, по-турецки, по-русски...” Имитируя речь героев, Искандер стремится передать особенности их произношения, отображая это графически.

“ – Ну, всё, – говорил старый лошадиник Мустафа, друг и вечный соперник Колчерукого, – теперь лопай свои тунговые яблоки и залезай в свою могилу, а то в Сибир отправят.

– Сибир не боюсь, боюсь, ты мою могилу займёшь, – отвечал Колчерукий” (2,16);

“ – Не пострадает, – сказал директор, склоняясь к художнику. – Крэпко сидит. (...) – Вентиляция здесь – море, – миролюбиво поправил он Вахтанга, – но кълиэнтам в жару будет приятно, кълиэнтам...” (1,397).

Как известно, для языков абхазо-адыгской подгруппы не характерно противопоставление согласных по твёрдости/мягкости – все согласные, за очень небольшим исключением, являются твёрдыми. Это нашло отражение в приведённых примерах.

Или в случае, когда в родном языке действующих лиц романа преобладают согласные звуки:

“Пшли, пжалста, – сказал он с непреклонной вежливостью и сильным абхазским акцентом” (1,481).

Регионализмы, постепенно осваиваясь в тексте романа, приобретают грамматические формы русского языка: “положил голову на муртаку” (1,106); “приподымая голову с валика-муртаки” (1,107); «молодое вино из винограда “качич”» (2,443); «...я выпил его “качича”, получил кейф...» (2, 62).

А вот пример словообразовательной активности введённой автором и освоенной читателем иноязычной лексики:

Шайтан – шайтанская (хитрость); шайтанство; по-шайтански;

Гяур – гяурские (обычай); по-гяурски;

Хаш – хашные (haš – арм. – “варить”). Ср. также существующие в языке народов Кавказа производные – hašist, hašman (“любитель есть хаш”) с суффиксами -ist и -man (регулярным компонентом сложносочинённых слов).

Автор разъясняет не только семантику, но и внутреннюю форму слова, его эмоционально-экспрессивное значение и ассоциативные связи, им вызываемые в родном языке:

«Дядя Сандро знал, что девушки этого села в очень жаркие дни уходят купаться в лес, где со скалистого откоса по широкому деревянному жёлобу стекает ключевая вода. Этот древний народный душ именуется абхазами “ачичхалей”. На наш слух слово это передаёт не только журчание стекающей с высоты воды, но и пульсирующую неравномерность хлещущего потока» (1,439); “ – Маш-аллах! – повторил за ним Хабуг, радуясь, что этот полуабхазец помнит наш древний возглас, благославляющий цветенье, попеванье, изобилие” (1,327).

Особенности родного языка передаются также путём сопоставления его с русским языком. При этом автор зачастую опускает собственно абхазское слово (или выражение), по возможности подбирая к нему русский эквивалент. Однако это не всегда возможно из-за различия национальных культур, поведенческих норм, устоявшихся традиций народов. И тогда Ф. Искандер делает обратный перевод слова с русского на русский, подчёркивая тем самым существование у его эквивалента в абхазском языке дополнительного значения:

« – Сандро не из простых, он из присматривающих, – сказал старик, как мне показалось, со скрытой насмешкой над моим невежеством. По-абхазски слово “присматривающий” означает также и “руководящий» (1,22). (Ср. также: арм. “*tekarar*” (“руководитель”) – букв. “стоящий за рулевым веслом”, “рулевой”, “кормчий”).

Нередко писатель строит свою речь, словно “переключаясь” с одного языка на другой. Особенно это характерно для стилистики авторских монологов, в которых легко обнаружить такие переключки, когда на глазах читателя разворачивается “весёлая” игра слов, происходит калькирование как отдельных лексем, так и целых фраз, реплик и фразеологических оборотов. При этом автор нередко добавляет, что “так говорят у нас”, или “как говорят абхазцы” (грузины, мингрелы, и т.д.):

« – Знает, кого бояться, чувствует время, в котором стоим, – говорили чегемцы, цокая языками и поглядывая друг на друга... (“Эх, время, в котором стоим”, – вообще любят говорить чегемцы по всякому поводу, и выражение это, в зависимости от того, как его произносить, имеет множество оттенков, выражающих разную степень безнадёжности...)» (1,318);

“ – Добром вас, – приветствовал он его по-абхазски и встал с места. – Добром и тебя, – отвечал пастух...” (1,427);

« – Нет, – сказал Кязым, – мы детей в строгости содержим. Абхазцы говорят: “Посади ребёнка на колени, и он повиснет у тебя на усах”» (2,70).

В последнем примере благодаря дословному переводу абхазская половица сохраняет свою образность; автор мог бы заменить её вторую часть русским эквивалентом, и в результате национальный колорит был бы неизбежно утрачен. Ср.: “Посади ребёнка на колени, и он сядет тебе на шею”.

Или другой пример использования русских фразеологизмов в романе Ф. Искандера: Тенгиз, абхаз по национальности, пытается сдобрить свою речь ранее слышанным русским выражением “пальчики оближешь”, “переводя” его довольно вольно, что приводит к комическому эффекту: “ – Если, – говорит, – в доме ничего нет, одно лобико подаст, но в таком виде, что пальцы покушаешь” (1,283).

Особого рассмотрения заслуживают авторские неологизмы. Подчас это – лексические и семантические кальки с абхазского и других кавказских языков, которые служат для передачи этнокультурных реалий, не имеющих эквивалента в русском языке. Среди них интересны эмоционально окрашенные неологизмы, выражающие отношение абхазцев к тому или иному человеку:

“ – С лица-то она хороша, – говорят чегемцы про ту или иную женщину, – да что толку-то – *тяжелозада*” (1,438);

“ – Как, злозастый Караман умер? – удивился мой старик. Похотливых людей наши абхазцы называют *злозадыми*” (1,230).

Выделенные курсивом неологизмы – пример наиболее продуктивной модели словообразования в языках абхазо-адыгской подгруппы, а именно словосложения. Ср.: *ладзы* – “ла” (глаз) + “дзы” (вода) = “глазная вода” (слеза); *чаражвра* – “пировать” – от “чара” (кушать), “жвра” (лить); и т.п. Подобное лексическое калькирование позволяет автору раскрыть внутреннюю форму исконного слова, подчеркнуть его экспрессивность.

Используя образованные по той же модели неологизмы, автор раскрывает внутреннюю форму слова также для создания у читателя представления о местных культурных и бытовых реалиях, в русской культуре отсутствующих. Например: “застольцы”, “застольничать” (застолье – неотъемлемая часть культуры горцев); “умыкание”, “умыкатель” – появление этих неологизмов вызвано необходимостью описания обычая горцев похищать свою будущую невесту (“Весёлый головорез Теймыр, неизменный исполнитель черновой, но почётной работы умыкания” – 1,436); “мужевластие” – отражает существование “принципа мужевластия за абхазским столом”; “каштанщик” (продавец каштанов); “очаголюбие” (образ “родного очага” являлся для абхазцев символом “могучего жизнеутверждения семейственности”); “очаг” в романе поэтизируется; в переносном значении очаг ассоциируется с женщиной); “горевестник” – специальный человек, разносящий по окрестным селам весть о смерти родственника и т.д.

В романе “Сандро из Чегема” читаем: “...Интересно, между прочим, когда у нас на Кавказе о каком-то человеке что-то рассказывают, обязательно называют национальность. Один армянин, говорят, один грузин, один абхаз, один мингрел. Я сам такой. Конечно, все люди делают одно и то же, но каждый делает немножко по-своему, согласно своей национальности. И потому мы называем нацию, чтобы картина была ясней” (2,259). Хотелось бы добавить, что когда Фазиль Искандер “о каком-то человеке что-то рассказывает”, он не забывает придать своему герою, кроме национальной, ещё и языковую специфику, посредством чего на страницах “Сандро” воссоздаётся то “сладостное многоголосье”, о котором говорит сам автор.



СТИХОТВОРЕНИЯ РАИСЫ БЛОХ

Раиса Ноевна Блох родилась в 1899 году в семье присяжного поверенного. В 20-е годы училась в Петроградском университете на историческом факультете, посещала студию стихотворного перевода, открытую М.Л. Лозинским, была одной из верных его учениц.

Некоторые из текстов переводились коллективно или, как говорил Лозинский, “сорбно”. Наряду с другими прилежно трудилась и Раиса Блох. Пройдя подготовительный этап технических упражнений, слушатели студии принялись за перевод сонетов Жозе-Мариа де Эредиа. В мае 1923 года книга, отредактированная и снабжённая подробным комментарием, была отправлена в издательство “Всемирная литература”. “Объединённое единой волей содружество поэтов, стремящихся разрешить в живом и гласном общении одну и ту же задачу возможно более адекватного выражения своим стихом чужеземного стиха, во много раз богаче комбинативными способностями, запасом слов, стилистической изобретательностью, нежели отдельный переводчик. Как бы отчётной работой кружка поэтов, отважившихся на этот опыт, и служит предлагаемый сборник”, – писал Лозинский (см.: Багровое светило. Стихи зарубежных поэтов в переводе Михаила Лозинского. М., 1974. С. 205). В этом сборнике Блох принадлежало несколько удачных переводов.

В конце 1920 года Раиса Блох по рекомендации Н. Гумилёва, М. Кузмина и М. Лозинского была принята в Петроградское отделение Всероссийского союза поэтов (председателем был Александр Блок).

“В стихах Раисы Блох есть лиризм, есть несомненный песенный строй. По-моему, на неё можно надеяться. Я бы высказался за принятие её в члены-соревнователи”, – написал в своём отзыве Лозинский. “Согласен с М. Лозинским”, – откликнулся Гумилёв. “Разумеется и я согласен”, – присоединился Блок, хотя отметил некоторую общую бессодержательность многих стихов молодых поэтов, столь похожих друг на друга в творчестве и столь “различных, как люди”. С мнением Блока о принятии был согласен и Кузмин (Лит. наследство. 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 689).

Стихи, написанные в 1919–1920 годах и представленные комиссии, позднее были включены в сборник “Мой город” (1928). Сборник вышел в Берлине, потому что уже с 1922 года Раиса Блох вместе с семьёй брата (известного театроведа Якова Ноевича Блоха) оказалась в эмиграции, где продолжила своё образование как медиевист и защитила диссертацию на тему “Монастырская политика Льва IX в Германии, Бургундии и Италии”.

Блох была ученицей талантливого русского историка Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской, очень гордилась этим и многие годы переписывалась с нею. “Мне дорого, что Вы думали о моей судьбе”, – писала она О.А. Добиаш (см.: Воронова Т.П. Раиса Блох – поэтесса и историк Западного Средневековья (из переписки с О.А. Добиаш-Рождественской) // Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. Л., 1989. С. 77). Письма Р.Н. Блох хранятся в архиве О.А. Добиаш-Рождественской в Государственной Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 64 из них, относящихся к 1928–1936 годам, содержат много библиографических сведений по изданиям рукописных текстов. К одному из писем О.А. Добиаш от 15 марта 1932 года Блох приложила два немецких перевода стихотворений А. Ахматовой (“Просыпаться на рассвете...” и “Тяжела ты, любовная память!..”) (см.: Воронова Т.П. Архив О.А. Добиаш-Рождественской в Государственной Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина // Средние века. М., 1966. Вып. 29. С. 189).

После прихода к власти Гитлера Блох пришлось эмигрировать во Францию. В её судьбе горячее участие принимают профессор Сорбонны Фердинанд Лот и его жена Мирра Ивановна Бородина – филолог-романист, бывшая бестужевка, дочь русского ботаника академика И.П. Бородина. “Все они замечательные, добрые и благородные люди, но лучше всех сам шерметр: радостно знать, что есть на свете такие добрые люди”, – писала она О.А. Добиаш-Рождественской (Французский ежегодник. 1973. М., 1975. С. 29).

Написанные Блох в Германии работы выходили под арийскими именами. “Всё же то, что с нами в Германии проделали, – грабёж, – пишет

она 27 февраля 1935 года. – У меня и моих друзей украли молодость. Впрочем, это ещё лёгкая кража, бывали случаи и пострашнее”.

В Париже Раиса Блох вышла замуж за поэта Михаила Горлина. Их называли “голубиной парой”, брак был счастливым, несмотря на разницу в возрасте: она была старше мужа на 10 лет. От этого брака родилась дочь, скоропостижно умершая в возрасте шести лет. Её памяти посвящены стихи “Небо благостное...”

Во время гитлеровской оккупации Франции Раиса Блох была арестована. По пути в концлагерь ей удалось выбросить письмо, чудом уцелевшее и дошедшее до нас: “Я думаю о всех с нежностью и хочу возвратиться к вам”. М. Горлин был депортирован годом раньше жены и убит на соляных коях в Силезии.

В одном из последних стихотворений Раиса Блох писала:

Лишь остаётся синева,
Трава и ветер вольный,
И безучастные слова
О том, как было больно.

Жизнь её закончилась трагически: в 1943 году она погибла в печах нацистского концлагеря.

Раисе Блох принадлежат несколько сборников стихов. Упомянутый сборник “Мой город” был посвящен любимому ею Петербургу:

Мне был отчизной город белый,
Где ветер треплет вымпела...

Известный эмигрантский критик К.В. Мочульский отметил в этих стихах «особый, пленительный мир “петербургской школы”», строгую сдержанность образов и холодную прозрачность слов. «Не все стихи её удачны; во многих – незаполненные, незастроенные пространства, но все они на высоком поэтическом уровне (...) О любви, о печали, о воспоминаниях рассказывается без восклицаний, без “нутра” – и этот застенчивый холодок возвращает знакомым темам всю их свежесть» (Звено. 1928. № 3. С. 173). В.В. Набоков указал на поэтические штампы (эпитеты *золотой* и *золотистый*, которыми названы огонь, звезда, сад, туман, путь, праздник, свет, город). «Впрочем, язык её хоть беден, да чист, чист не только слог, но и всё настроение её книжечки. И когда она низводит музу из постылой светлицы на землю, то совсем хорошо “напротив блещут стёкла от невидимого солнца”, и в отличном стихотворении “Воробей” живые воробьи сидят на заборе и поют о лужах. Так что в конце концов всё это золотистое, светленькое и чуть-чуть пропитанное (что, увы, в женских стихах почти неизбежно) холодноватыми духами Ахматовой – может на придиричивого читателя произвести впечатление чего-то лёгкого, простого, птичьего» (Руль. 1928. № 2213. 7 марта).

В 1935 году в Берлине вышел сборник “Тишина. Стихи (1928–1934)”, в 1939 году в Брюсселе – “Заветы” (совместно с М. Бородиной). В отклике на сборник “Тишина” Георгий Адамович писал, что “Раиса Блох подкупает именно тем, что ни в какие платья не рядится, ничем не притворяется. Она такая, как есть. Очень простыми и чистыми словами рассказывает о своих надеждах, томлениях и разочарованиях” (Последние новости. 1935. № 5054. 24 янв.).

Стихи “Принесла случайная молва...”, переложённые на музыку, исполнялись Александром Вертинским.

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залётные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.

Вас не взять, не спрятать, не прогнать,
Надо жить – не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять.

Не идти ведь по снегу к реке,
Пряча щёки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке.

Это было, было и прошло,
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.

Рита Райт-Ковалёва в своей книге “Человек из Музея Человека” (М., 1982), посвящённой герою французского Сопротивления Борису Вильде, приводит это стихотворение в другом варианте:

Здесь живут чужие господа
И чужая радость и беда,
Мы для них чужие – навсегда.

В книге, посвящённой памяти Раисы Блох и Михаила Горлина, напечатанной в Париже в 1959 году, их друзья и издатели писали, что эти два учёных – славист-литературовед и историк, спаянные “общей судьбой и глубочайшей своей сущностью”, “до конца, в самых тягостных условиях, среди ужаса, разлуки и смерти, оставались прежде всего, глубже всего – поэтами”.



* * *

Втекай, лазурь, струись в мои глубины,
Палящий пламень радости и бурь!
Чтоб билась кровь тревогой голубиной
В мой дом, в мой сон, в мой стон втекай, лазурь!
Большим окном, огромною тоскою
Мой дух открылся на твои моря.
О пусть его ничем не успокою!
О пусть меня уводит за собою
Бессонная, бездонная заря!

* * *

Быстрее туч уходит жизнь земная,
Быстрее птиц проносятся года,
А мы живём, не помня и не зная,
И строим дом, как будто навсегда.

О, жаркий воздух странствия земного,
О, свет, о блеск, о, каждый пыльный час,
Мне жалко вас: вы не вернётесь снова,
С иной земли я оглянусь на вас.

* * *

Небо благостное и жарок
Запах трав и деревьев сонных,
Небо праведное – подарок
Для усталых и огорчённых,

Свод торжественный, купол полный
Птичьим щебетом, Божьим звоном,
И горячего ветра волны
По кудрявым сбегают склонам

До реки, до травы высокой,
Незабудковой, бирюзовой,
Где над девочкой синеокой
Смерть насыпала холмик новый.

* * *

Как мне вернуться к вам, святые имена,
К вам, буквы чёрные – разрушенные храмы?
О, как беспомощно вам кровь моя верна,
Как чует трепетно, как слушает она
Один и тот же зов, веками тот же самый.

Я с вами быть хочу, как те, кого уж нет,
Прилежно повторять, как повторяли дети,
Квадратные слова, простейший ваш завет,
И знать, что ширится неистребимый свет,
И льётся в сумерки тепло тысячелетий.

* * *

В гулкий час предутренних молений
Опустись тихонько на колени,
Не зови, не жди, не прекословь.

Помолись, чтобы тебя забыли,
Как забыли тех, что прежде были,
Как забудут всех, что будут вновь.

Саркофаг

В Палестине собирают виноград,
Жёлтым солнцем напоённые плоды,
Пляшут ангелы у мраморных колонн,
Заливаются на лозах соловьи.

Спи спокойно в белом гробе, тихий брат.
В день обещанный ты будешь воскрешён.
О зелёные эдемские сады!
Иорданские прозрачные струи!

* * *

Голубь в руке –
Сердце моё:
Стонет оно
Сумрачным днем,
Бьётся оно
Тёплым крылом,
Рвётся к тебе,
Родина.

Нет ему сна,
Нет ему дна,
Только в тумане
Ветка одна:
Ты ли близка,
Родина?

Чёрная ветка,
Жалобный лес,
Воздух колючий
До небес.
Даже если твой свет исчез –
Верность тебе,
Родина.

* * *

Пусть небо чёрное грозит дождём,
Я солнце горное видала в нём.
Пусть в блёстках инея земля тверда,
В Лагуне синяя теплая вода,

И чайки носятся, и даль чиста,
И так и просятся к устам уста.

Благословенная моя тоска,
Огонь задумчивый, что сладко жжёт,
Я привезла тебя издалека,
Я сохраню тебя от всех невзгод.

Переводы стихов Жозе-Мариа де Эредиа

Похищение Андромеды

По ветру распластав шуршащие крыла,
Огромный конь, дыбясь и пар вздымая белый,
Всё выше их несёт, полёт направив смелый
Сквозь голубую ночь и звёзды без числа.

Летят. Вот Африку окутывает мгла...
Пустыня... Азия... Ливанские пределы...
А там раскинулся, от пены поседельный,
Таинственный залив, где Гелла смерть нашла.

И, словно паруса упругие, покрыли
Двоих любовников большие тени крылий,
Их неразлучные баюкая сердца;

Пока они следят, не отрывая зора,
Как, лучезарные, от Урны до Тельца,
Их звёзды восстают из тёмного простора.

О корабле Вергилия

Пусть ярким светочем полуночных высот
Вам, Диоскуры, блеск хранит с небес Эллады
Латинского певца, пока пред ним Циклады
Не встанут золотом из глуби синих вод.

Пусть ветры лёгкие, ведя свой хоровод,
Пусть Япикс, веющий дыханием прохлады,
Ветрила корабля наполнить будут рады
И к чуждым берегам направят их полёт.

По морю, где дельфин играет шаловливый,
Поэту Мантуи пошлите путь счастливый;
Да будет, Близнецы, он вами озарен!

Я вверил полдуши охране хрупких крылий,
Которыми средь волн, где спасся Арион,
На родину богов уносится Вергилий.

Рано умершая

Кто б ни был ты, живой, пройди и не развей
Цветы, покрывшие мой пепел позабытый;
Чти бедный мавзолей, кустарником обвитый,
Где слышно мне, как плющ ползёт и муравей.

Ты медлишь? Горлица запела меж ветвей.
Нет! Пусть не обагрят кровь жертвы эти плиты!
И, если ты мне друг, услышь слова защиты.
Так сладко жить, увь! Верни свободу ей!

Подумай, в миртами украшенном чертоге
Я девой умерла на свадебном пороге,
Так близко и уже от милого вдали.

Для радостных лучей мои сомкнулись очи,
И тень мою теперь навеки обрели
Безжалостный Эреб и царство тёмной Ночи.

Обет

Бывало, рыжий галл, иль ибериец чёрный,
Или гарумн, с лицом, расписанным вокруг,
На мраморной плите, изделье диких рук,
Превозносили ключ живой и благотворный.

Позднее цезари, сменив Венеск нагорный,
Построили бассейн и римский акведук
И Феста Фабия, придя на этот луг,
Срывала для богов вервену и виорны.

Как в ваши времена, Искитт и Иликсон,
Сегодня мне пропел ключей священный звон.
И сера всё ещё курится в небе синем.

Поэтому, обет свершая, как Гунну,
Сын Улоокса, я святую чту волну,
В стихах сложив алтарь таинственным богиням.

Пахарь

Мотыгу, сеялку, надёжные гужи,
Плуг, борону, ярмо и серп с косою упорной,
Звеневшей целый день на пажити просторной,
И вилы, бравшие снопы тяжёлой ржи;

Орудья верные, теперь добычу ржи,
Стареющей Пармис приносит Рее чёрной,
Кормящей семена землёю животворной.
Он в восемьдесят лет достиг конца межи.

Век долгий, о другой не помышляя доле,
Он продвигал сошник в необозримом поле;
Прожив без радости, не помнит тёмных дней.

Но утомился он страдой под знойным небом,
А может быть, опять придётся у теней
Распахивать поля, вспоённые Эребом.

*Публикация Л.М. Грановской,
доктора филологических наук ©
Баку*

ЗАМЕТКИ ОБ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВАХ

Л.П. КРЫСИН,

доктор филологических наук

Склоняется ли слово *Интернет*?

Человеку, который постоянно имеет дело с компьютером, этот вопрос может показаться странным: разумеется, склоняется! *Пользоваться Интернетом, подсоединиться к Интернету, двадцать лет назад и речи об Интернете не было* – всё это высказывания, вполне обычные в нынешнем компьютеризованном мире. Но совсем недавно слово *Интернет* не только не склоняли, но и писали и печатали “иностранными” буквами, то есть латиницей, сохраняя то написание, которое свойственно этому слову в языке – источнике его распространения, то есть в английском. Потом стали изображать это слово почему-то только прописными буквами: ИНТЕРНЕТ. И продолжали употреблять как неизменяемое: *адрес в ИНТЕРНЕТ* (сейчас мы скажем и напишем: *в Интернете*), *пользоваться ИНТЕРНЕТ* (вместо теперешнего: *пользоваться Интернетом*) и т.д.

Internet и для англоязычного мира слово новое. Оно возникло от сложения первой части прилагательного *international* “интернациональный, международный” и существительного *net* в одном из основных его значений – “сеть” и обозначает международную электронную сеть, с помощью которой пользователи компьютеров могут связываться друг с другом и обмениваться разного рода информацией – в виде текстов, фотографий, рисунков, чертежей и т.п. “Толковый словарь русского языка конца XX века” (СПб., 1998) указывает даже дату рождения Интернета – 2 января 1969 года, “когда в одном из подразделений Министерства обороны США началась работа над проектом связи компьютеров, в результате которой была создана сеть ARPANET (Advanced Research Projects Agency Net), построенная на тех же принципах, которые легли позднее в основу Интернета”.

Всё же сам термин *Internet* и его русский эквивалент *Интернет* появились значительно позже (не ранее середины 80-х годов), а в широкое употребление эти слова вошли, по-видимому, с начала 90-х годов XX века. Во всяком случае, регулярно переиздаваемый и дополняемый новым материалом словарь “Brewer’s Twentieth Century Phrase & Fable” в издании 1991 года еще не содержит этого термина. Нет его и в “Новом большом англо-русском словаре”, соответствующий (1-й) том которого вышел в 1993 году.

В наши дни употребительность слова *Интернет* очень высока. Оно давно вышло за пределы профессионального использования его специалистами-компьютерщиками; слово мелькает в печати, звучит в радио- и телеэфире. Появляются у него и производные – один из верных признаков освоения иноязычного слова русским языком: прилагательное *интернетовский* (*интернетовские специалисты, интернетовский центр*), разговорно-жаргонный глагол *интернетить* (*Я сегодня всю ночь интернетил* – то есть, войдя в Интернет, пользовался этой системой информации); образуются сложные слова с первой частью *Интернет*: *Интернет-центр, Интернет-казино, Интернет-кафе* и т.п.

Написание слова *Интернет* с прописной буквы свидетельствует, что это – имя собственное. На раннем этапе его освоения русским языком и вторая часть слова писалась с прописной буквы: *ИнтерНет*, но этот экзотический вариант написания не прижился.

У слова *Интернет* есть две произносительные особенности, отличающие его от произношения сходных по фонетической структуре исконно русских слов: согласные [т] в первой части слова и [н] во второй произносятся твердо: [интэрнэт]. Первая из этих особенностей свойственна всем словам, которые начинаются с морфемы *интер-*, звук [т] в которой всегда произносится твердо: *интервидение, интернационал, интерпол* и под. Вторая произносительная особенность специфична для слова *Интернет* и его производных, хотя, разумеется, в других иноязычных словах в сходной фонетической позиции (но в иных корневых или аффиксальных морфемах) [н] перед ударным гласным переднего ряда может произноситься твердо – как, например, в словах *пенсне, фонема, сонет* (в последнем слове допустимы два варианта – с твердым и с мягким [н]) и т.п.

По мере того, как международная компьютерная сеть всё шире распространяется в разных странах мира, в том числе и в России, и само слово *Интернет* укрепляет свои позиции в языках. В русском оно употребляется как обычное склоняемое существительное мужского рода с основой на твердый согласный и имеет все надежные формы единственного числа: *Интернета, Интернету, Интернетом, об Интернете*. Теоретически возможные формы множественного числа (**Интернеты, *Интернетов* и т.д.) не употребляются по семантическим причинам: ведь это – собственное имя, и обозначает оно уникальную информационную систему, о чем свидетельствует прописная начальная буква в этом слове.

Что такое *миллениум*?

В самом конце 1999-го года в печати замелькало дотоле неизвестное русскому читателю слово *миллениум*. Одни писали о *конце старого и наступлении нового миллениума*, другие, споря с первыми, указывали,

что *миллениум* наступит только через год, в 2001-м году. Но и те, и другие употребляли это слово как точный синоним русского *тысячелетие*.

Действительно, латинское по происхождению слово *миллениум* (лат. *mille* “тысяча”) значит “тысячелетие”. Таково и значение английского *millennium*, которое, скорее всего, и явилось непосредственным прототипом этого неологизма в русском языке. Однако возникает вопрос: зачем нам иноязычное слово, если оно в точности повторяет смысл уже существующего (*тысячелетие*)? Ведь обычно из другого языка заимствуется либо название новой вещи, нового понятия (*транзистор*, *шорты*, *инвестиция* и т.п.), либо такое слово, которое может заменить собой целое словосочетание (*сейф* – вместо *несгораемый шкаф*, *снайпер* – вместо *меткий стрелок*, *стайер* – вместо *бегун на длинные дистанции*, *саммит* – вместо *встреча в верхах* и т.п.), либо, наконец, слово, которое обозначает разницу какого-либо предмета или явления (сравните смысловые различия близких, но всё же не вполне синонимичных слов типа *водитель* – *шофёр*, *уют* – *комфорт*, *дело* – *бизнес*, *страх* – *паника* и под.).

В случае с *миллениумом* картина иная: налицо подмена одного, исконного слова (*тысячелетие*) иноязычным словом – его смысловым дублетом. И если носители русского языка (главным образом, журналисты) будут продолжать осмысливать слово *миллениум* именно как “тысячелетие”, то перспектив укорениться в русском языке у этого иноязычного неологизма немного: язык не любит слов-“близнецов” и обычно избавляется от одного из двух наименований, которые не различаются ни по значению, ни по стилистической окраске, ни по сфере употребления (в языке XIX века, например, существовали слова *аманта* и *возлюбленная*, *истрата* и *растрата*, *летописатель* и *летописец*; левые члены этих дублетных пар были вытеснены из языка и сейчас не употребляются).

Но кажется, что есть необходимость в том, чтобы выразить несколько иной, чем “тысячелетие”, хотя и близкий ему смысл: “рубеж. граница между сменяющимися друг друга тысячелетиями”. Вот для обозначения этого смысла слово *миллениум* вполне пригodiлось бы, потому что по-русски одним словом этот смысл не выразить. Произойдет ли “специализация” значения слова *миллениум*, то есть обозначение им границы между тысячелетиями, а не просто тысячи лет, покажет время и, в частности, время наступления рубежа между вторым и третьим тысячелетиями, которые сменят друг друга в ночь с 31 декабря 2000-го года на 1 января года 2001-го.

Без идеологических наслоений

Общественно-политическая лексика на исходе XX века

Г.А. ЗАВАРЗИНА,
кандидат филологических наук

Одной из отличительных черт развития русского языка на исходе XX века является необычайный динамизм изменений, наблюдающихся на разных уровнях языковой системы и, в первую очередь, на уровне лексическом. Под влиянием общественно-политических и социально-экономических перемен, происходящих в российском обществе с середины 80-х годов (в так называемый “новейший”, или “постсоветский”, период), в лексическом составе русского языка наблюдаются серьезные трансформации. В наибольшей степени они затрагивают общественно-политическую лексику. Здесь одним из самых ярких семантических процессов является снятие так называемых “идеологических наслоений”, обусловленных господствовавшей в советское время марксистско-ленинской идеологией. Из семантики общественно-политических слов исчезают идеологизированные компоненты значения, содержащие информацию

– о принадлежности явления или понятия к той или иной общественно-политической системе: ср. а) прежние и б) современные лексикографические трактовки слов *безработица* – а) экономическое явление, типичное для капиталистического общества; б) наличие безработных как социальное явление; *бастовать* – а) в капиталистических странах – прекращать работу на предприятиях с целью добиться удовлетворения политических и экономических требований; б) объявлять забастовку, прекращать работу. В качестве источника для определения семантики общественно-политических слов русского языка советского периода, приведенных здесь и далее, использовались: “Словарь русского языка” в 4-х томах под ред. А.П. Евгеньевой (1981–1984), “Словарь современного русского литературного языка” в 17-ти томах (1950–1965), “Словарь русского языка” С.И. Ожегова (1985). Основными лексикографическими изданиями для определения значений слов русского языка конца XX века послужили “Толковый словарь русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1998) и “Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения” под ред. Г.Н. Спяревой (1998).

– о научности/ненаучности, истинности/ложности тех или иных по-

нятий с точки зрения марксистской идеологии: ср. а) прежние и б) современные словарные описания слов *марксизм-ленинизм* –

а) научная система взглядов; б) система взглядов...; *антимарксистский* – а) направленный против марксизма, враждебный ему, ненаучный; б) направленный против марксизма;

– о прогрессивности/реакционности тех или иных понятий с точки зрения марксизма-ленинизма: ср. а) прежние и б) современные описания слов *большевик* – а) передовой человек эпохи социализма; б) член большевистской партии; *антисоветизм* – а) реакционная идеология и политика; б) агитационная деятельность, направленная против СССР”;

– о солидарности явления с марксизмом-ленинизмом или враждебности ему: ср. словарные описания лексических единиц *большевизм* – а) революционное последовательно марксистское течение; б) течение в рабочем движении; *анархизм* – а) враждебное марксизму течение; б) общественно-политическое течение, проповедующее анархию;

– о морально-этической ценности понятия с точки зрения добра и зла, нравственности, справедливости и т.п., понимаемых в русле марксистско-ленинской идеологии; ср. а) прежние и б) современные лексикографические трактовки слов *капитализм* – а) общественный строй, основанный на эксплуатации; б) общественный строй с высоким уровнем производства, гражданским обществом, развитым рынком и частной формой присвоения общественного продукта, прибыли; *буржуазия* – а) господствующий класс, существующий за счет эксплуатации; б) класс собственников производства, существующий за счет прибавочной стоимости, полученной в результате применения наемного труда.

В отдельных случаях процесс снятия идеологических наслоений советского времени может быть связан с разрушением идеологизированных значений слова в целом. Так, до середины 80-х годов слово *левый* имело два общественно-политических значения: 1. Политически радикальный или более радикальный, чем другие. 2. Мнимо радикальный, прикрывающий революционной фразой оппортунистическую, соглашательскую сущность. Современные лексикографические источники не фиксируют идеологизированное значение и определяют семантическую структуру названного слова следующим образом: “Левый – 1. В политике и в истории философской мысли. Радикальный, ориентированный на общественные и политические демократические преобразования... 2. Придерживающийся социалистических или коммунистических взглядов и революционных методов социальных преобразований”. Подобные изменения наблюдаются также в семантике слов *богатый*, *партийность*, *беспартийный*, *партия* и др. Во всех указанных случаях, как отмечается в научной литературе, идеологический прагматический компонент значения слова начинает отступать, давая место “когнитивному прагматическому компоненту”, базирующемуся на “некоторых всеобщих знаниях о мире и непреложных истинах, кото-

рые со времени синкретического восприятия мира группируются вокруг полюсов: добро/зло, свет/тьма, тепло/холод, порядок/хаос – и соответствующим образом воздействуют на сознание” (Скляревская Г.Н. Прагматика и лексикография//Язык–система. Язык–текст. Язык–способность. Сб. статей. М., 1995. С. 67).

Снятие идеологических наслоений в семантике общественно-политической лексики русского языка настоящего времени во многих случаях оказывается тесно связанным с изменением социальной оценочности слов. Так, слова и словосочетания, обозначающие отрицательные с точки зрения марксистско-ленинской идеологии понятия, становятся нейтральными: ср. а) прежние и б) современные лексикографические описания слов *империализм* – а) захватническая внешняя политика; б) высшая стадия капитализма, характеризующаяся господством крупных монополий во всех сферах жизни; *аполитичный* – а) безразличный к вопросам политики, на деле выступающий с установками, враждебными политике прогрессивных общественных кругов; б) безразличный к вопросам политики.

Слова, называвшие положительно оценивавшиеся ранее понятия, становятся нейтральными или получают отрицательную оценку – ср. а) прежние и б) современные толкования слов *ленинец* – а) человек, непоколебимо преданный делу В.И. Ленина, делу коммунистической партии; б) последователь ленинизма; *советский* – а) преданный задачам социалистического строительства, интересам страны Советов; б) *неодобр.* Свойственный чему-либо в СССР или кому-либо, живущему в СССР, “совковый” и др. Небольшая группа слов, обозначавших отрицательно оценивавшиеся ранее явления и понятия, становится положительно окрашенной; ср. а) прежние и б) современные описания слова *консервативный* – а) враждебный прогрессу, приверженный ко всему устаревшему: отжившим порядкам, взглядам; б) традиционный, опирающийся на традиции; сохраняющий старое, надежно зарекомендовавшее себя и др.

Весьма значительным семантическим процессом в развитии общественно-политической лексики русского языка середины 80–90-х годов XX века является переориентация номинаций на иную действительность. Г.Н. Скляревская называет это явление “перенесением номинаций из чуждой лингвистической среды на русскую почву” (Скляревская Г.Н. Указ. работа. С. 66), в соответствии с которым слова, обозначавшие ранее реалии зарубежной или дореволюционной действительности, начинают употребляться для номинации российской действительности. Самую большую группу переориентированной общественно-политической лексики составляют наименования административных лиц, должностей и учреждений (при этом исчезают семантический компонент “дореволюционное” в словах *дума*, *губернатор* и др., и сема “своественное капиталистическому/буржуазному обществу” в словах *муниципалитет*, *премьер-министр*, *спикер*, *префектура*, *парламент* и др.

К числу активных семантических процессов, характеризующих развитие общественно-политической лексики русского языка на исходе XX столетия, относятся также разрушение привычных синонимических и антонимических связей политических терминов и возникновение новых. Как отмечается в научной литературе, “активные политические процессы в жизни общества, появление на политической арене многочисленных группировок и партий... размыли критерии четкого разграничения позиций внутри политических объединений. Отсутствие четкости и стабильности в содержании некоторых политических терминов привело к декорреляции привычных синонимических и антонимических связей в лексике, относящейся к сфере политики (Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике // Русский язык конца XX столетия, М., 1996. С. 60). Примером может служить новый синонимический ряд: *патриот*–*национал*–*патриот*–*националист*. Вместе с тем, подобные процессы, безусловно, связаны со снятием идеологических наслоений советского времени в плане содержания многих общественно-политических слов. Так, исчезновение в слове *революция* идеологизированного семантического компонента, содержащего информацию о прогрессивности понятия с точки зрения марксизма, позволило восстановить разрушенные в советскую эпоху синонимические отношения отмеченной словесной единицы со словом *переворот*. Ср.: *Великая Октябрьская революция* – *Октябрь* – *переворот* (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 1998).

Образуются новые синонимические ряды, обусловленные исчезновением идеологизированных компонентов значения “свойственное западному/буржуазному или дореволюционному обществу”: *капиталист*–*буржуа* – *новый русский*, *депутат* – *думец* – *народный избранник* – *парламентарий*.

Разрушение идеологических наслоений в значениях общественно-политических слов привело в последние полтора десятилетия и к изменению их антонимических связей. Так, в настоящее время сохраняются антонимические отношения между словами *коллективизм* и *индивидуализм*, *социалистическое соревнование* и *конкуренция*, *белый* (в значении “связанный с белогвардейским движением”) и *красный* (в значении “относящийся к революции, революционной деятельности”), но данные лексические единицы получают противоположные существовавшим до середины 80-х годов оценочные знаки. Исследования показывают, что в 90-е годы как антонимы функционировали слова *коммунист* и *демократ*, *социализм* и *демократия*, *коммунизм* и *большевизм*, которые до середины 80-х годов были связаны отношениями синонимии: «И хотя ленинизм с его диалектическим подходом сумел все-таки понять опасность абсолютизации революции, впадения в “революционизм” в духе “военного коммунизма” и отказаться от него, дилемма –

либо социализм (диктатура пролетариата), либо демократия – была решена в пользу первого» (Моск. комс. 1997. 21 нояб.); “Коммунизм – идеология, большевизм – линия поведения в политике, агрессивное крыло коммунизма и, главное, неофашизма, который может маскироваться в антикоммунизм” (Ермакова О.П. Указ. работа. С. 61).

В ряду основных динамических процессов развития общественно-политической лексики русского языка конца XX века следует рассматривать возникновение внутриязыковой политической (идеологической) полисемии и совмещение противоположных эмоциональных оценок многих слов: “Любопытным семантическим процессом, характерным для современного состояния русского языка, является явление групповой семантической дубликации – единое ранее значение раздваивается, превращаясь фактически в две семемы, различающиеся по съемному составу и функционирующие в различных социальных группах” (Стернин И.А. Общественные процессы и развитие современного русского языка. Очерк изменений в русском языке конца XX века. Воронеж, 1997. С. 36). Это явление, безусловно, связано с расслоением бывшего советского общества, которое из общества единомышленников превратилось в неоднородный коллектив с социальными группировками, имеющими неодинаковые идеологические установки. Поэтому в подъязыке антидемократического направления многие общественно-политические слова полностью сохраняют свое прежнее “доперестроечное” содержание. Посмотрите, например, как употребляется слово *капитализм* в периодических изданиях коммунистической ориентации: “Капитализм не может существовать без эксплуатации человека человеком, без войн, без гонки вооружений...” (Сов. Россия. 1997. 17 июня); или там же слово *марксизм*: “Марксизм... был наукой, но марксизм – это и идеология. Марксизм был величайшей идеологией в истории человечества – как учение, которое мобилизовало массы на борьбу...” (Сов. Россия. 1997. 22 нояб.).

Рассмотренные нами семантические процессы в общественно-политической лексике русского языка на исходе XX века, безусловно, не являются завершенными. Как справедливо отмечается в научной литературе, “сейчас чаще можно говорить о процессах, о движении в семантике и не всегда о явных результатах. В настоящее время в русском языке изменения происходят почти так же стремительно, как и в политике. Многое смешалось, перегруппировалось, размылось, но еще не вполне определилось. Возможно, что некоторые (или многие) наблюдаемые сейчас явления в области значений слов окажутся недолговечными, не закрепятся в качестве нормы, но и в этом случае зафиксировать их на определенном этапе развития языка интересно и важно, поскольку каждый этап в развитии языка заслуживает внимания и изучения” (Ермакова О.П. Указ. работа. С. 33).



Питать и кормить

*И.А. ШИРШОВ,
доктор филологических наук*

На первый взгляд, толковые и синонимические словари содержат достаточно информации об этих словах. Так, в МАС слово *питать* описывается как “давать еду, кормить”, а слово *кормить* – как “давать корм, пищу”. В “Словаре синонимов русского языка” под редакцией А.П. Евгеньевой (Л., 1970. С. 481) у этих синонимов выделена общая часть “давать есть” и дифференцирующая: “*Кормить* – основное слово для выражения значения; *питать* употр. более ограниченно, обычно во врачебных рекомендациях, предписаниях с указанием чем или как кормить кого-л.”.

И тем не менее, не все вопросы, связанные с особенностями семантического наполнения и употребления этих слов, прояснены. Значительные трудности вызывает слово *питать* и производные от него. Требуется изучения вопрос о специфике синонимических отношений в словообразовательных гнездах, а также проблема самих гнезд, восходящих к словам *кормить* и *питать*.

Оба глагола входят в разряд переходных и сильно управляют винительным падежом без предлога, ср.: *кормить кого*, *питать кого*. Оба они относятся к семантическому типу глаголов физического действия, деятельности и с этой точки зрения не различаются. Остается предположить, что различия кроются в объекте действия. В самом деле, действие глагола *кормить* направлено на домашнее животное, а слова *питать* – на человека: “Купайте, кормите отборным зерном; Водой ключевой поите [коня]” (Пушкин); “Теперь обратимся к Парижу, где наш Тургенев, одетый лучшим портным, питаемый лучшим ресторатором, наслаждается жизнью” (Карамзин). Приведенные примеры показывают, что еще в начале XIX в. объектные характеристики слов *кормить* и *питать* четко противопоставлялись.

За 200 лет, т.е. уже в современном русском языке, произошли значительные изменения, связанные с характером объектов, на которые распространяется действие обоих глаголов. Так, четко оформилась

тенденция к резкому сокращению круга объектов, на которые направлено действие глагола *питать*. Это, в основном, больной человек, часто беспомощный, для которого диетическая пища служит средством, способствующим выздоровлению: “Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями” (Л. Толстой); “[Чувилев] Дома жрать нечего. Топить нечем... Доктор сказал – питать мясным бульоном” (А.Н. Толстой); “Дней десять его выхаживали, челюсть ремонтировали, трубкой питали” (В. Попов).

И, наоборот, круг объектов, на которые направлено действие *кормить*, резко расширился. Теперь им охватывается не только животное, но и человек: “Кормить своего ребенка не позволили ей доктора” (С. Аксаков); “Ганна заторопилась домой кормить обедом мужа” (Поповкин). В этих предложениях невозможна замена глагола *кормить* глаголом *питать*. Нейтрализация их противопоставления возможна только в сочетании со словом *больной* (*кормить больного, питать больного*).

Действием слова *кормить* охватывается весь круг объектов – домашние животные и человек, поэтому можно высказать предположение, что синонимические отношения слов *кормить* и *питать* на грани распада, а слово *питать* имеет тенденцию к выпадению из языка. Этим и объясняются трудности в употреблении этого слова.

Слова *питать* и *кормить* существуют в русском языке сотни лет, поэтому представляет интерес, почему изменится семантический объем этих слов. Одна причина кроется в самом языке: в отношении синонимии вступили производное слово *кормить* и непроизводное слово *питать*. Мотивированное слово – структура чрезвычайно жизнеспособная, она по форме и смыслу связана со своим производящим, функционирует в двух подсистемах языка – словообразовании и лексике. Его место в лексической системе поддерживается мотивационными отношениями в деривационной системе.

В языке существует тенденция к выпадению немотивированного знака и сохранению знака мотивированного. Так, слово *ректи* “говорить” выпало, слова же *отрок*, *отрочество* сохранились. Слово *перст* переместилось на периферию современного языка, слова же *наперсток*, *перчатка*, *перстень* закрепились в его ядре, в нейтральном стиле. Слова *яти*, *вергати* выпали из языка, слова же *взять*, *изъять*, *свергать*, *ввергать* сохранились. С этой точки зрения большей жизнеспособностью обладает слово *кормить*, чем слово *питать*: оно не только сохранило объект действия (давать корм), но и расширило его за счет пищи человека.

Другая причина семантических изменений – экстралингвистическая. Россия до XX в. оставалась страной по преимуществу крестьянской, земледельческой и скотоводческой. Разведение домашнего скота

составляло одно из важнейших занятий крестьянина. В дихотомии “человек – животное” ведущей силой являлся человек, а животное – это область приложения усилий человека. Кормление как процесс было связано прежде всего с выращиванием скота, а процесс питания применительно к человеку был неактуален: человека не надо питать, он сам способен зарабатывать на жизнь. Не случайно язык сохранил как объект действия глагола *питать* только больного, беспомощного.

Слова *питать* и *кормить* входят в разряд многозначных. В основном своем значении “давать есть” они предстают как идеографические синонимы (см. об этом выше). У этих синонимов есть и второе значение “доставлять средства к существованию”: “[Люди] находят, что лучше, чтобы у каждого была своя семья, и, хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многого другого” (Л. Толстой); “Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтобы кормить своего несчастного сына” (Достоевский).

У синонимов в этом значении совпадают субъектные и объектные характеристики, в качестве объекта выступает семья, а также незрелые и недееспособные члены семьи. Здесь уже другой тип синонимии – дублетный. Язык, как известно, старается избавиться от дублетов и сохранить различное в рамках общего. Вот почему конкуренция между дублетами приводит к победе одного и выпадению из языка другого. В современном русском языке значение “доставлять средства к существованию” передается, в основном, словом *кормить*, слово *питать* толковые словари подают с пометой “устаревшее” (МАС), уже не употребляющееся: “– Нет, Михайлушко, я по миру не хожу, слава богу: детки кормят” (Писемский); “– Говорят, он один кормил огромное семейство” (Л. Толстой); “Ружье кормило охотника, как кормят крестьянина коса и плуг” (Соколов-Микитов).

Таким образом, в анализируемом синонимическом ряду происходят однонаправленные изменения – расширение сферы употребления слова *кормить* и сужение – слова *питать*. Но если в значении “давать еду” слово *питать* продолжает употребляться, то в значении “доставлять средства к существованию” фактически выпало из языка.

Лексико-семантическая парадигма у слова *питать* шире, чем у слова *кормить*. Если последнее имеет два отмеченных значения, то слово *питать* – еще два, развившихся на базе второго. Так, в сочетаниях *питать электростанцию углем*, *питать город электроэнергией*, *ручьи питают болото водой* реализовано значение “снабжать чем-л.”. В сочетаниях *питать доверие*, *питать надежду*, *питать ненависть*, *питать отвращение*, *питать страх* функционирует значение “испытывать, ощущать что-л.”. В этих значениях слово *питать* широко употребляется в современном русском языке и не вступает в синонимические отношения со словом *кормить*, поэтому если и мож-

но говорить о выпадении из языка, то только отдельного значения, а не слова в целом.

При изучении синонимов важно не только выявить особенности семантического наполнения каждого члена синонимического ряда, но и словообразовательные возможности синонимов.

Глагол *кормить* в первом значении “давать корм, еду” обладает очень высокой продуктивностью, он сочетается почти со всеми глагольными префиксами. В одних производных глаголах освоен объект действия “животное, птица”, а в качестве средства действия выступает “корм”. Так, слово *вскормить* имеет значение “кормя, вырастить”: “Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой, Мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окном” (Пушкин); *искормить* “кормя, израсходовать”: “Весь запас сена, у кого какой есть, искармливают скоту” (Железнов); *откормить* “кормя усиленно, сделать тучным”: “Хрюкал поросенок, откармливаемый на убой” (С.-Щедрин); *прикормить* “кормя, приручить, приманить”: “Воробьи, прикормленные Степаном Ивановичем, совершенно обнаглели” (Б. Полевой); *прокормить* (во 2 знач.) “кормя, израсходовать”: “– Перед весной корову продал. А што поделаешь? Сено, што было в запасе, прокормили” (Наумов).

В других глаголах освоены оба объекта действия – животное и человек и оба средства действия – корм и еда: *выкормить* “кормя, вырастить”: “Но меня она [Маня] выкормила и воспитала, по существу заменив мать” (Брегова); *выкормить бычка, свинью; перекормить* “кормя сверх меры, нанести вред здоровью”: *перекормить лошадь овсом, перекормить ребенка; подкормить* “кормить немного”: “На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей подкормят” (С.-Щедрин); “Жила она очень несчастно, а я – голодно, и она немножко подкармливала меня с мужем моим, она – добрая” (Горький); *покормить* “кормить некоторое время, дать поесть”: “День был очень жаркий, и мы, отъехав верст пятнадцать, остановились покормить лошадей” (С. Аксаков); “А когда старшина, получив приказание покормить бойцов перед атакой горячим завтраком, удалился, до подъема осталось всего лишь полчаса” (Березко); *раскормить* “кормя обильно, довести до тучности”: “Дьячок так раскормил ее [лошадь], что когда он проезжал по селу, все встречные останавливались” (Н. Успенский); «Монахи были большею частью молодые, красивые, видные... [Агаша] даже заметила: “Ишь, раскормили! один к одному»» (С.-Щедрин); *скормить* “кормя, израсходовать” (корм, еду): “У них третий год подряд не вызревают арбузы, убирают их осенью зелеными и скармливают свиньям” (Овечкин); “[Ксения] Пищу всю солдатам скормили” (Горький).

Наконец, в третьей группе глаголов освоен объект действия “человек”, а в качестве средства действия выступает “еда”: *докормить* “окончить кормить”: “– Я тебя, милая няня, когда сам на ноги стану, до-

пою, докормлю и похороню” (Пришвин); *закормить* “кормя обильно, нанести вред”: “Она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закармила меня насмерть” (Тургенев); *накормить* “кормя, насытить”: “Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками” (Чехов); *недокормить* “кормить менее, чем следует”: “Человек не только голодный, но недокормленный, постоянно зол” (Помяловский); *обкормить* “кормить чем-л. сверх меры, во вред здоровью”: “– Всю ночь живото мучаюсь. Видно, вчера Василиса простоквашей меня обкармила” (Г. Марков).

Таким образом, производные от *кормить* освоили все компоненты значения производящего: “давать пищу”, объект действия – “животное” и “человек”, средство действия – “корм” и “еда”. Следовало бы ожидать в глагольном блоке появления производных и от слова *питать*, но их в языке не оказалось (за исключением двух устаревших глаголов). И не только потому, что их место заняли производные от *кормить*, в которых реализовано значение направленности действия на человека, но и потому, что в слове *питать* объектом действия предстает большой человек. Если действием охвачена такая узкая семантическая ниша, оно в принципе не может модифицироваться.

Что это действительно так, показывают два производных глагола от слова *питать* – *напитать* и *упитать*. Оба выступают в одном значении “питая, насытить”: “Всякий их [нищих] приобует – приоденет, хлебом-солью напитает” (А.К. Толстой); “– Что, коллега, смотрите, как вашего Молоха упитывают? – услышал Бобров” (Куприн). В данном случае мы имеем дело с производными синонимами, в которых префиксы выступают в тождественном значении. В современном русском языке оба слова устарели, выпали из языка, так как обозначают действие, направленное на человека вообще, а не на больного человека.

Если синонимические отношения слов *кормить* и *питать* еще сохраняются, то в производных глаголах они уже исчезли, что подтверждает предположение о разрушении синонимического ряда.

Отсутствие в гнезде отраженной синонимии (на базе первого значения) компенсируется аффиксальной синонимией в производных от глагола *кормить*. Аффиксальная синонимия возникает тогда, когда одно производящее слово сочетается с тождественными по значению аффиксами. Известно, что русские префиксы многозначны, но реализуются в производных синонимические значения. Так, глаголы *вскармливать* и *выкармливать* употребляются в одном, мотивированном, значении – “кормя, вырастить”. Синонимия префиксов, вернее – отдельных значений префиксов *за-*, *об-*, *пере-*, является источником словообразовательных синонимов *закормить*, *обкормить*, *перекормить*, общее значение которых – “кормя сверх меры, нанести вред здоровью”. Глаголы *искормить*, *скармливать*, *прокормить* (во втором значении) функциониру-

ют с одним мотивационным значением “кормя, израсходовать”. Следует заметить, что применительно к аффиксальным синонимам трудно говорить о доминанте синонимического ряда.

Отраженная синонимия наблюдается в производных, возникших на базе второго значения слов *кормить* и *питать* “доставлять средства к существованию”. В словах *прокормить* (в первом значении) и *пропитать* префикс *про-* выступает в аспектуальном значении, которое не может поколебать синонимических отношений между производящими; “Не оставь меня, кум милой! Дай ты мне собраться с силой И до вешних только дней Прокорми и обогрей” (Крылов); “И одинокой-то вдове оставаться после супруга – немалое испытание, а не то что с пятерьми младенцами, которых пропитать нечем” (Достоевский). Как исходное значение слова *питать*, так и отраженное в слове *пропитать* устарели в современном русском языке.

Распад синонимии наблюдается и в существительных *питатель* и *кормилец*, возникших на базе второго значения производящих: устаревшее *питать* породило устаревшее *питатель* со значением “лицо – носитель процессуального признака”. Слово *кормилец* в современном русском языке уже не имеет синонимов.

Подобное же явление можно видеть и в глаголах *кормиться*, *питаться*, мотивированных вторым значением производящих “доставлять средства к существованию”: в них реализовано собственно-возвратное значение, когда действие направлено на объект, совпадающий с субъектом (*питаться плодами своей профессии*): “Собранное [в лесу] бабушка продавала и этим кормилась” (Горький). На базе устаревшего *питать* возникло устаревшее *питаться*, а отношения синонимии между словами *кормиться* и *питаться* фактически разрушены.

Синонимические отношения сохранились в производных *кормиться* и *питаться*, мотивированных первым значением слов *кормить* и *питать* “давать корм, еду”. Отношения возвратных глаголов этого типа со своими производящими основываются на особом виде мотивации – косвенной, когда значение объекта производящих снимается перед постфиксом *-ся*, а действие замыкается в самом субъекте. Значение средства действия при этом также сохраняется: “Мы уж и так сидели без хлеба и кормились только тем, что добывали охотой” (Арсеньев); “Питаюсь я из солдатского котла” (Степанов). *Питаться растительной пищей*. На базе этого значения у слова *питаться* возникает иное – “принимать пищу где-л.”, с локальными характеристиками: *питаться дома*, *питаться в столовой*.

Представляют интерес отношения между словами *воспитать* и *воскормить*. Еще в начале XIX в. они были синонимами: “[Елецкой] был вскормлен сей Москвой” (Баратынский). В дальнейшем глагол *воскормить* устарел и выпал из языка. Произошел процесс распада синонимии, но уже иной: в языке закрепилось производное от *питать*, а

не от *кормить*. Связано это прежде всего с утерей этими словами мотивационных отношений с производящими. Происходило это поэтапно и не завершено до сих пор. В.И. Даль в “Толковом словаре живого великорусского языка” отмечал у слова *воспитать* два слоя значений – низшее и высшее. В низшем значении “кормить и одевать до возраста” оно было повернуто к производящему, причем к первому (“кормить”) и второму (“одевать”) значениям одновременно, т.е. носило диффузный характер.

Высшее значение “научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно” связано с интеллектуальным и нравственным развитием ребенка. Но в современном русском языке низшее и высшее значение – это не что иное, как прямое и переносное значение. Прямое значение имеет тенденцию к исчезновению, хотя носителями современного русского языка ощущается как фоновое (воспитать – это вырастить, одеть и обуть, т.е. обеспечить средствами к существованию). Но доминирует в слове *воспитать* значение “дать образование, сформировать определенные нравственные качества”. Оно уже преобладало в начале XIX в., ср.: “Дочери его было семнадцать лет от роду... Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и санными девушками, шила золотом и не знала грамоты” (Пушкин). В этом своем значении слово *воспитать* подверглось семантическому опрощению, изолировалось от своего производящего, дав жизнь новому словообразовательному гнезду.

Особняком стоят глаголы *впитать* и *пропитать* (во 2 знач.). Они мотивируются глаголом *питать* в значении “снабжать чем-л.”. В слове *пропитать* сформировалось значение “питая водой, жидкостью, смочить насквозь, а также насытить каким-л. запахом”: *пропитать водой землю, пропитать маслом, воздух пропитан запахом лип*. Производное *впитать* имеет значение “вобрать в себя влагу, воду и т.п.”: *впитать влагу, песок впитывает воду*. Глагол *питать* в значении “снабжать чем-л.” не вступает в синонимические отношения со словом *кормить*, так как у последнего нет соотносительного значения. Вследствие этого слова *впитать* и *пропитать* также не имеют синонимов.

Специфика отношений синонимов *кормить* и *питать* наложила отпечаток на словообразовательные гнезда, восходящие к этим глаголам. Так, в современном гнезде с вершиной *корм* 194 производных, в гнезде с вершиной *питать* – 58. Количественный состав гнезд сам по себе является характеристикой: словопорождающие возможности глагола *кормить* намного превышают словообразовательные потенции слова *питать*.

Кроме того, для этих гнезд характерны две противоположные тенденции. С одной стороны, производные последних десятилетий *кормозавод, кормокухня, кормопроизводство, кормоцех* свидетельствуют о расширении границ одного гнезда. С другой стороны, завершающийся

процесс семантического опрощения слов *воспитать*, *питомец*, *питомник* свидетельствует о сужении границ гнезда с вершиной *питать*, о разрушении его и появлении новых гнезд в языке. Опрощению сопутствует процесс устаревания отдельных значений, например, “обеспечивать средства к существованию” у слова *питать*, а также устареванию производных, возникших на базе этого значения: *упитать*, *пропитать* (в I знач.), *пропитаться* (в I знач.), *питатель*, *напитать* (в I знач.).

Типы синонимов, рассмотренные нами, могут быть охарактеризованы по разным признакам. Прежде всего выделяются внутригнездовые и межгнездовые синонимы. Внутригнездовые, или однокорневые, синонимы характерны только для гнезда с вершиной *кормить*. Они возникают на базе первого значения глагола “давать корм, еду” путем присоединения разных по форме префиксов, но передающих тождественное значение: *обкормить*, *перекормить*, *закормить* – “кормя сверх меры, нанести вред здоровью”. Это так называемая аффиксальная синонимия, имеющая своим источником деривацию.

Межгнездовые, или разнокорневые, синонимы выявляются в разных гнездах. Они делятся на идеографические и дублетные. Идеографические различаются объектом, на который направлено глагольное действие, ср. *кормить* и *питать* в значении “давать еду”. Дублетные не имеют видимых различительных признаков, один из них устарел, чем создал базу для распада синонимии, ср. *кормить* и *питать* в значении “доставлять средства к существованию”. При развертывании гнезд производные могут сохранять синонимические отношения, свойственные их производящим. Возникает так называемая отраженная синонимия. Отражаться могут идеографические синонимы (*питаться* и *кормиться* в значении “принимать пищу”) и дублетные синонимы, один из которых устарел (*кормилец* и *питатель*).

В целом, гнездо с вершиной *питать* за последние столетия подвергается изменениям: сужается семантический объем вершины, устаревает второе значение слова, устаревает созданные на его базе производные, часть производных подвергается опрощению, что способствует дроблению гнезда на ряд самостоятельных гнезд.



СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ИЛИ НАРЕЧИЕ?

Е.Б. ЯЛЫМОВА

Весенней ночью думай обо мне,
И летней ночью думай обо мне,
Осенней ночью думай обо мне,
И зимней ночью думай обо мне...

Если мы предложим школьнику или абитуриенту ответить, поверая “алгеброй гармонию”, каким членом предложения является слово *весенней* (а также *летней*, *осенней*, *зимней*) в приведённых строках из стихотворения “Заклинание” Евтушенко, он нам должен будет сказать, что это определение, и, продолжая разбор, добавить, что выражено оно именем прилагательным в творительном падеже, согласуясь со словом *ночью*. Но дальше ему придётся остановиться в некотором замешательстве, ибо согласует он это имя прилагательное с наречием *ночью* (именно как наречие трактуется это слово), и это притом, что главным признаком наречия является его неизменяемость и в отношении согласования наречие не вступает, а имя прилагательное, справедливо скажут нам и школьник, и абитуриент, следует согласовывать с именем существительным, которое в свою очередь, как известно со школы, изменяется по числам и падежам. К тому же наречие есть признак признака – в широком смысле слова, и, соглашаясь признать слово *ночью* наречием, мы вынуждены, таким образом, назвать слова *весенней*, *летней*, *осенней*, *зимней* признаками признака признака. Однако нам придётся согласиться с очевидностью факта согласования, а иначе мы должны были бы употребить имя прилагательное в данных словосочетаниях в начальной форме, примыкая его к наречию (например “*ранний утром*”), как делают это иногда иностранные учащиеся, ссылаясь на наши же объяснения по поводу норм русского синтаксиса,

или счесть словосочетания *весенней ночью, летней ночью, осенней ночью, зимней ночью* неразложимыми. Ни то, ни другое сделать нам в рамках нашего реального языка не удастся, и следовательно, в согласии с законами русской грамматики, нам не останется ничего другого, как отнести слово *ночью* к именам существительным.

Но тогда почему в изолированной позиции или в предложении – при использовании без определений – мы называем слова типа *ночью, утром, осенью, зимой, шёпотом* и т.п. наречиями, если они не утратили всех синтаксических особенностей, свойственных существительным? Если же исходить из того, что именно наличие определения в препозиции переводит подобные слова из категории наречий назад в категорию существительных, то придётся считаться с тем вполне логичным возражением, что определения в данном случае (например: *ночью – тёмной ночью, зимой – морозной зимой, шёпотом – взволнованным шёпотом*) не меняют функции определяемых членов этих словосочетаний в предложении, и вопросы, которые мы к ним поставим, останутся такими же: соответственно *когда?, когда?, как?* Может быть, тогда именно смысловое наполнение определений меняет характер главного члена подобных словосочетаний, привнося новое значение и позволяя рассматривать его уже опять в ряду имён существительных, а не наречий? Но в качестве проверки допустимости такого предположения можно подставить определения, уточняющие лишь время (*глубокой ночью, ранней зимой*) или образ действия (*еле слышимым шёпотом*), не внося более никакой другой дополнительной информации, и убедиться в полном совпадении не только синтаксической, но и семантической функции в предложении указанных выше слов как в сочетании с определениями, так и без них. Как правило, при подобных словах возможны определения и в постпозиции, например: “Это случилось *зимой прошлого года*”, “Девочка извинилась *шёпотом избалованной любимицы*”.

Всё это заставляет сказать, что у нас не всегда есть достаточно чёткое основание для традиционного отнесения целой группы слов к категории наречий. Здесь уместно вспомнить, что в ряде случаев именно возможность либо невозможность подстановки определения мы предлагаем ученикам как формальный признак для разграничения существительных и наречий в условиях определённого контекста: *вглубь, но в морскую глубину, в глубину моря*.

При столь размытых границах при решении этого вопроса, мы могли бы, последовательно выстраивая ряды, существенно расширить группы слов, называемых сегодня наречиями, а именно: *утром, днём, вечером, ночью + в полдень, в полночь, на закате, на рассвете; зимой, весной, летом, осенью + в межсезонье; шёпотом + басом, с надрывом* и т.п. То, что они не все образованы из творительного падежа, а многие при том имеют предлоги, не может служить каким-либо препятствием для включения их в данные ряды, так как их синтаксическая

функция полностью совпадает, а само наличие предлогов не мешает включать в категорию наречий такие слова с предлогами, как *в диковинку* и т.п.

Но даже если мы ограничим себя анализом группы слов, традиционно называемых наречиями, которые исходно имеют форму творительного падежа, то мы, соблюдая логику рассуждения, должны будем сблизить такие предложения, как “Она разговаривала *шёпотом*”, “Она писала *карандашом*”, где *шёпотом* и *карандашом* будут иметь, в широком смысле слова, значение инструмента для выполнения действия. Если же мы будем исходить из того, что *шёпотом* имеет менее “опредмеченное” значение, то для сравнения можно будет взять иной пример: “Теперь она разговаривала не (еле слышным) *шёпотом*, а (громким) *голосом*”, где степень “опредмеченности” будет одинаковой, тем не менее академическая грамматика потребует от нас отнести *шёпотом* к наречиям, а *голосом* к существительным в творительном падеже. Можно снять и ещё одно возможное в данном случае возражение: *голосом* вряд ли будет использоваться без определения (такие случаи есть, но они редки). Для этого рассмотрим такой пример: “Он предупреждал об опасности то *шёпотом*, то *свистом*”, и увидим, сколь тонкая и, главное, никак не оговоренная академической грамматикой грань отделяет одну часть речи от другой.

Понятно, что само значение инструментальности, которое передаёт творительный падеж, “провоцирует” нас сблизать существительные в творительном падеже с наречиями, передающими сходные значения. Более того, сам процесс образования наречий, использующих для своего “рождения”, как правило, именно существительные в качестве “строительного” материала, постоянно даёт нам примеры переходного, “перетекающего” состояния. Но тем важнее иметь более определённые, жёсткие критерии для разграничения наречий и существительных, что, в свою очередь, возможно, приведёт к более четко структурированной системе внутри самого разряда наречий.



К 150-летию со дня рождения

**Александр
Григорьевич
Преображенский
(около 1850–1918)**

Имя А.Г. Преображенского уже прочно утвердилось в отечественной науке и известно не одному поколению исследователей. “Этимологический словарь русского языка”, первые выпуски которого состоялись в 1910–1914 гг., вызвал широкий отклик и до сих пор является одним из основных пособий по исторической лексикографии. Академик Ф.Ф. Фортунатов справедливо назвал Словарь “*первым опытом лингвистического пособия такого рода*” (Фортунатов Ф.Ф. Отзыв о труде А.Г. Преображенского “Этимологический словарь русского языка”. Вып. 1–4. М., 1910–1911 гг. // Сб. отчетов о премиях и наградах за 1911 г. СПб., 1911. С. 228). Однако, по его мнению, «на Словарь г. Преображенского нельзя... смотреть как на самостоятельную научную работу: составитель “Словаря”, очевидно, не прошёл лингвистическую школу...» (там же. С. 223). Но то был не столько упрёк А.Г. Преображенскому, осмелившемуся представить учёной публике свой труд, который, между прочим, он издавал на свои деньги, сколько справедливое сетование на недостаточную разработанность этимологических исследований того времени.

Заметим, что до А.Г. Преображенского в России этот научный жанр существовал лишь в виде заметок, и только два автора – Шимкевич и Горяев – попытались собрать воедино свои этимологические разыскания в отдельный словарь. В Европе же эта традиция известна уже с XVIII века. Позже высокую оценку труду А.Г. Преображенского дал академик Б.М. Ляпунов, справедливо считавший, что «мы благодаря осторожности и добросовестности автора, привлекавшего все доступные ему пособия по изучению общерусского языка, получаем... весьма ценную книгу, восполняющую крупный пробел в русской лингвистической литературе. Имея под рукою “Этимологический словарь русского языка” А.Г. Преображенского, – продолжает далее Б.М. Ляпунов, – мы можем почти всегда, не тратя много времени за поисками в разных

лингвистических сочинениях и журнальных статьях, ознакомиться с наиболее вероятными этимологиями наиболее употребительных в общерусском образованном и литературном языке слов» (Ляпунов Б.М. Поправки и дополнения к Этимологическому словарю Преображенского // Отд. отд. из Известий II Отд. АН. Т. XXX (1925). Л., 1926. С. 9–10).

Следует также сказать, что получивший немалый общественный резонанс Словарь был ещё при жизни автора удостоен малой премии М.Н. Ахматова. Вот как определил А.Г. Преображенский стратегию своего труда: «При объяснении слов заимствованных обращено внимание прежде всего на то, откуда, когда и каким путём слово вошло в русский язык. К сожалению, многое в этом отношении остается неясным. Часто, например, знаем, что слово заимствовано из какого-либо турецкого языка, но не знаем, когда, при каких условиях и у какого именно народа, ибо история культурных и иных отношений русского народа и окружавшим и окружающим его обширную географическую область иными народами и племенами далеко ещё не выяснена. При некоторых заимствованных словах, — пишет далее учёный, — не только указывается источник и путь заимствования, но предлагаются и этимологические объяснения, чтобы избавить читателя от необходимости обращаться к иностранным этимологическим словарям. Надеюсь, — заключает он, — за такие отступления не заслужу упрёка» (Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1959. С. 3–4).

О других, не менее заметных и, наверное, более популярных в его время трудах известно немного. Хотя именно многочисленные руководства, грамматики и хрестоматии А.Г. Преображенского в течение почти 30 лет служили пособиями для преподавания отечественной словесности в средних учебных заведениях и прославили имя педагога и мыслителя своими новаторскими идеями, живой, недогматической мыслью, стройным и понятным изложением и, наконец, глубоким знанием истории и теории словесности — от ее древнейших образцов до современных форм. И везде А.Г. Преображенскому удавалось выразить поучительное слово своим особым художественным наитием, заставляющим думать, но при этом не отбирающим право на своё мнение, свой опыт. Почти все пособия учёного выдержали до 1917 года несколько изданий, а одно из них — «Теория словесности для средних учебных заведений. (Начала эстетики, риторики и поэтики)» — во 2-м издании было рекомендовано Учёным комитетом при Св. Синоде в качестве учебного пособия при преподавании теории словесности в духовных семинариях.

В предисловии к 4-му изданию книги автор пишет: «Изложение — догматическое. Из этого, конечно, не следует, чтобы метод преподавания был такой же; напротив, изучение теории словесности, как известно, только тогда и может быть плодотворно, когда оно опирается на

самостоятельный (здесь и далее курсив наш. – *О.Н.*) анализ лучших литературных произведений *самими учениками* под руководством учителя. Учебник этот – только памятная книжка для повторений и справок” (Преображенский А.Г. Теория словесности... Изд. 4-е, испр. М., 1905. С. III). Едва ли кто-либо с тех пор открывал этот труд и смог ощутить не только подлинность слов заслуженного учителя 4-й Московской гимназии, воспитавшего, между прочим, такое дарование, как А.А. Шахматов, где преподавали Ф.Ф. Фортунатов и другие корифеи русской филологии, но и актуальность сказанного им в наши дни. Любопытно было бы, на наш взгляд, ознакомиться с некоторыми положениями книги, перелистать ее страницы, окунувшись в гармонию языка, стиля и духа автора-просветителя.

Так, вторая глава учебника “Учение о слоге, или стилистика” раскрывает “элементы словесных произведений”, как бы вводит читателя в самый предмет науки. “Во всяком словесном произведении, – пишет А.Г. Преображенский, – как прозаическом, так и поэтическом, должно различать два элемента: *слог*, или те слова, которыми выражается произведение, и *содержание*, или мысли и образы, заключающиеся в произведении. Поэтому теория словесности разделяется на две части: учение о слоге, или стилистику, и учение о родах и видах прозаических и поэтических произведений” (там же. С. 8). Как же поясняет учёный строгие научные начала этой дисциплины? Здесь нельзя не процитировать следующий фрагмент: «*Слогом*, или *стилем*, называется способ выражения, зависящий от выбора слов и соединения их в предложения, ибо одну и ту же мысль можно выразить несколькими способами, смотря по тому, какие выберем слова и как их соединим. Например, вместо выражения: “Весна наступает”, у Пушкина сказано: “Улыбкой ясной природа сквозь сон встречает утро года”.

Наука, излагающая правила стиля, называется *стилистикой*.

Так как предмет стилистики есть речь, т.е. слова, соединённые в предложения, то в этом отношении стилистика сходна с грамматикой. Различие состоит в том, что грамматика рассматривает речь *по отношению к лицу говорящему*, а стилистика рассматривает ее *по отношению к лицу воспринимающему*. Грамматика учит, как образуются слова, как они изменяются и соединяются в предложения для выражения мыслей; стилистика учит, какая речь наилучшим образом достигает своего назначения, т.е. производит желаемое впечатление на ум, чувство и волю воспринимающего, ибо мы пользуемся даром слова для трех целей: когда желаем *сообщить познания* (действие на ум), *доставить удовольствие* (действие на чувство) или *убедить в чём-нибудь* (действие на волю). Грамматика имеет в виду научить выражаться правильно, стилистика учит выражаться не только правильно, но и изящно» (там же. С. 8–9).

Представляю интерес не только вводные замечания А.Г. Преобра-

женского, но и другие разделы книги, среди которых: *Свойства стиха, Виды словесных произведений, Теория поэзии (лирическая, эпическая, драматическая), Происхождение комедии и трагедии*. Учебник включает и такие главы, ознакомление с которыми полезно и ныне. Из них необходимо выделить две: *Исторические песни* и *Духовные стихи*, фрагменты из которых мы публикуем:

“{...} Предметом исторических песен служат наиболее замечательные лица и события нашей истории; напр(имер): татарский погром, эпоха Ивана Грозного, времена междуцарствия, эпоха Алексея Михайловича и Петра Великого, нашествие французов.

По складу своему исторические песни очень близко подходят к былинам: в них тот же стих и язык, те же приемы в изображении лиц и предметов; даже элемент чудесного иногда появляется в них. Так, например, в песне о Скопине-Шуйском боярин Никита Романович обертывается белым горностаем, серым волком, подобно былинному Вольге Святославичу.

Лучшие исторические песни относятся к эпохе татарщины и Иоанна Грозного: в песне о *Калине-царе* изображается татарское нашествие, в песне о *Шелкане Дудетьевиче* описываются несправедливости татарских чиновников. Иоанн Грозный воспевается в песнях как завоеватель царства Казанского и как искоренитель измены в царстве Московском. Из других исторических лиц наиболее симпатичными чертами изображается князь Скопин-Шуйский.

Примечание. Кроме эпических песен, сложившихся в Великороссии, есть ещё эпические народные произведения, получившие развитие в Малороссии. Они называются *думами*. Главный их предмет – подвиги казаков в борьбе с турками и поляками” (Там же. С. 132).

Как видно из представленного фрагмента, А.Г. Преображенского отличает широкое видение предмета и трепетное, осознанное отношение к источникам родной словесности.

Другой раздел – *Духовные стихи* – которому не нашлось места в позднейших учебниках и хрестоматиях, познавателен как самобытный образец потаённой русской культуры, оказавшей в том числе большое влияние и на формирование традиции литературного языка, насыщенного образами и фигурами древних сказаний, житий, апокрифов:

«К эпическим народным произведениям принадлежат *духовные стихи*; они имеют склад былины, но содержание заимствуют из книжных источников.

Этот род поэзии пользуется в народе высоким уважением с самых древнейших времен. Хранители духовных стихов, *калики* переходные и *нищая братия* ведут своё начало или от времён богатырей (по стиху “Сорок калик со коликою”) или от вознесения Иисуса Христа на небо (по стиху о вознесении Христове).

По содержанию духовные стихи могут быть разделены на две груп-

пы: 1. *Стихи о начале и о кончине мира и страшном суде*; 2. *Стихи повествовательные*.

1. В числе стихов первого рода главное место занимает знаменитый стих о *Голубиной книге*, в основании которого лежат апокрифы “*Беседа трех святителей*” и “*Беседа Иерусалимская*”. Здесь решаются различные космогонические вопросы; например, отчего у нас солнце красное, млад-светел месяц, звёзды частые и т.п. К тому же разряду относится “*Евангелистая песнь*”, в которой объясняется таинственное значение чисел от одного до двенадцати, и стих о *Георгии храбром*, в котором говорится о начале устроения и просвещения Русской земли.

Содержание стихов о кончине мира и о страшном суде взято частью из евангелия, частью из некоторых церковных сочинений; например, из *Ефрема Сирина*, из *жития св. Андрея Юродивого* и др., но главным образом из апокрифов: “*Хождение Богородицы по мукам*”, “*Вопросы Иоанна Богослова Господу на Фаворской горе*” и из слова *Методия Патарского*. Стихи эти многочисленны и разнообразны: одни начинаются изображением пришествия антихриста, другие описывают страшный суд, третьи повествуют о различных мучениях, которые ожидают грешников в будущей жизни.

2. Из стихов повествовательного характера особенным распространением пользуются стихи о *богатом и Лазаре* (переложение евангельской притчи) и стих об *Алексее человеке Божиим*.

Примечание. Довольно видное место в народной поэзии этого рода занимают *стихи раскольничьи*. Наибольшим распространением среди раскольников пользуются стихи о страшном суде, о пустыне и так называемый *стих преболезненного воспоминания озлобления католиков*» (Там же. С. 133–134).

К каждому разделу автор приводит список литературы, состоящий из наиболее достоверных и авторитетных трудов Н.С. Тихонравова, В.С. Миллера, П.Н. Рыбникова, Ф.И. Буслаева, А.Н. Веселовского и других.

Судьба А.Г. Преображенского во многом типична для поколения просветителей рубежа XIX–XX веков: от вдохновенной филологической музой мысли и неперемennого желанья *добрым словом* (так, кстати, называлась одна из него книг) подготовить молодое племя к взрослой жизни... до почти полной безвестности. Но всё же некоторые эпизоды жизни и деятельности А.Г. Преображенского нам удалось прояснить.

Точной даты рождения учёного пока установить не удалось. В биографических и энциклопедических справочниках она указывается предположительно – около 1850 года. Известно также, что Александр Григорьевич родился в с. Заулье Севского уезда Орловской губернии (Булахов М.Г. *Востоочнославянские языковеды*. Т. 3. Мн., 1978. С. 349). По-

видимому, позднее он оказался в Москве, где поступил на историко-филологический факультет столичного университета. Об этом имеется любопытное свидетельство в «Дополнениях к “Моим воспоминаниям”, не допущенных мною в печать» Ф.И. Буслаева, описавшего такой эпизод, относящийся к 1877 году: “...на следующий день рано утром явился к Григорию Сергеевичу (Строганову. – *О.Н.*). Главным предметом нашей беседы был Александр Григорьевич Преображенский, который, по окончании курса в Московском университете, готовился к магистерскому экзамену по истории всеобщей литературы, но потом изменил свой план и поступил учителем русского языка и словесности в одну из московских гимназий; впоследствии издал очень хороший учебник русской грамматики. Вот этого-то молодого человека Григорий Сергеевич и должен был теперь взять с собой за границу на несколько лет в качестве воспитателя и наставника Сережи (сына графа Г.С. Строганова. – *О.Н.*)” (ОР ГЛМ. Ф. 343. Оп. 1. Ед. хр. 2 [Глава IX]). В силу трагических обстоятельств, произошедших в семье графа, А.Г. Преображенский так и не поехал в Италию и всю дальнейшую судьбу связал с преподавательской работой.

Перед нами редкая книга – “Пятидесятилетие Московской 4-й гимназии (1849–1899). Краткий исторический очерк” (М., 1899). В ней есть раздел, рассказывающий об учителях. Здесь помещена и заметка об А.Г. Преображенском. О нём сказано следующее: “Кандидат историко-филологического факультета Московского университета выпуска 1874 года, состоял учителем древних языков в Московской 1-й прогимназии с 1 августа 1874 года по 1 августа 1878 года, когда был перемещён сверхштатным преподавателем русского языка в Московскую 4-ю гимназию; 11 сентября 1882 года назначен учителем параллельных классов, а с 25 августа 1884 года перемещён на должность штатного преподавателя” (с. 179). Между прочим, одной из отличительных особенностей этой, как, наверное, и других гимназий, была активная издательская работа, которую вели преподаватели. Почти каждый из них имел внушительный список научных трудов и методико-педагогических руководств. Так, и к небольшой заметке об А.Г. Преображенском приложен список из 16 книг. Из них, кроме указанных нами, отметим также: Избранные сочинения Ломоносова с биографией и примечаниями, составленными А.Г. Преображенским (М., 1884); Краткая русская грамматика для первых трех классов средних учебных заведений (М., 1885), выдержавшая 12 изданий; Руководство к изучению древнего церковнославянского языка для IV класса гимназий (М., 1887 – 2 издания); Русская хрестоматия для первых двух классов средних учебных заведений (М., 1891 – 2 издания); Теория словесности для VIII класса гимназии (М., 1892 – 2 издания); Букварь для обучения письму и чтению (М., 1893 – 2 издания) и др. В соавторстве с Дьяченко он также выпустил иллюстрированную Книгу для чтения “Доброе слово” (Год первый. М.,

1898 – 7 изданий; Год второй. М., 1897 – 5 изданий; Год третий. М., 1898 – 4 издания) и “Луч” (М., 1894 – 5 изданий).

Из других работ необходимо указать также “Конспект к русской грамматике Преображенского”, составленный А. Лавровым (Киев, 1904), и “Русскую хрестоматию для трех первых классов средних учебных заведений” (М., 1891). Замечательна, по-моему, мысль автора второго труда, положенная им в основу книги. “Задача русской хрестоматии, – пишет А.Г. Преображенский. – ... заключается... в том, чтобы приучить детей к сознательному чтению, обогатить бедную речь сокровищами литературного языка и воспитать вкус к изящному, благородному выражению” (Русская хрестоматия... С. III). Наверное, с позиции современных представлений на учебные пособия для детей несколько необычна идея о том, “чтобы статьи [хрестоматии] не были слишком просты” (Там же. С. 3).

Думается, что нынешним педагогам и научным работникам, занимающимся созданием учебников и хрестоматий, будет нелишне обратиться к опыту А.Г. Преображенского. В его гимназической деятельности удачно соединились и строгая академическая наука (прежде всего методы сравнительно-исторического языкознания, индоевропеистика и др.), и умелое применение системных знаний на практике, например, в преподавании древних языков, русской традиционной культуры и словесности.

А.Г. Преображенский умер в 1918 году, в смутное для российской науки и просвещения время. Быть может, на склоне лет невыносимо тяжело было видеть и осознавать, что создаваемое десятилетиями кропотливого труда древо отечественной словесности с его гуманистическими традициями в одночасье порушено. Хрестоматии и руководства “старой” школы оказались ненужными, а талантливейшие имена и труды прославленных русских академиков А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, В.И. Даля, Ф.И. Буслаева и многих других были объявлены “реакционными” и “устаревшими”. Незаметно “потерялось” и имя Александра Григорьевича Преображенского – автора первого научно обоснованного и организованного по правилам классической лексикографии Словаря, но прежде всего – русского языковеда и педагога.

О.В. Никитин

“... И сведоха в сон тонок...”

Образ тайнозрителя в видениях инока Епифания

Е.Г. ИЮЛЬСКАЯ

К памятникам старообрядческой литературы XVII века можно отнести “Житие” Епифания, которое входило в пустозерский сборник, включавший в себя и сочинения протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Федора.

Творчество инока Епифания представляет интерес прежде всего как литературное отражение ожесточенной общественно-религиозной борьбы вокруг церковных реформ патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Соловецкий инок Епифаний, покинувший монастырь в результате никоновских реформ, долгие годы жил пустынником на маленьком островке реки Суны. Собираясь отправиться в Москву для критики господствовавшей церкви и для “спасения” царя от ее влияния, он написал обличительную книгу и краткую автобиографическую записку (1665–1666 гг.). По приезде в Москву Епифаний был посажен в тюрьму, где познакомился с протопопом Аввакумом и другими учителями раскола. В 1667 году, находясь в заточении в Пустозерске, он написал свое “Житие”, во многом отличающееся от традиционных житий древнерусской литературы.

В сочинении Епифания соединяются разножанровые элементы. Особого внимания заслуживает жанр видений, как наиболее распространенная литературная форма того времени. В них повествовалось о появлении персонажей христианской мифологии, предсказывающих ход исторических событий, либо предоставляющих конкретную помощь герою. Епифанию является Богородица; она спасает его от бев, помогает преодолеть болезни и уныние. Сверхъестественные силы интересуют автора прежде всего как средство изображения реальной общественно-политической жизни Руси. Несмотря на то, что тематика видений весьма обширна, способы ее раскрытия довольно ограничены. Центральным образом в этих произведениях является тайнозритель, то есть литературный персонаж или реально-историческое лицо, от имени которого рассказывается видение.

В “Житии” Епифания в образе тайнозрителя выступает сам автор, для которого принципиально важно раскрыть перед читателем свой

внутренний мир, душевные переживания и особенности общения с высшими силами.

Декларируемая в житийной литературе способность героя к наблюдению потусторонних явлений “сердечными очами” не раскрывалась в этой традиции конкретно. Епифаний описывает способ “прозрения”, вводя себя самого в обстановку видений и чудес. Он как бы учится видеть себя “сердечными очами” и излагать свои наблюдения. Этот путь к самонаблюдению кажется автору столь непривычным, что он считает нужным прямо указать на него читателю – “вижу себя”.

Действие происходит во сне, но реальность его подчеркивается тщательным описанием окружающей автора обычной обстановки и помещенным им в скобках специальным пояснением: “И вижу себя сидяща посреде келейце моей на скамейке (на ней же рукоделие мое временем делаю)” (Здесь и далее “Житие” Епифания цитируется по изданию: Пустозерская проза., М., 1989). Епифаний использует способ “прилежного” созерцания чудесных явлений для того, чтобы не только внешне описать видение, как это делается в житиях, но и раскрыть перед читателем сам процесс его появления.

Важное место отводится описанию сна как перехода в иной мир и в иной план сознания. Для этого автор использует характерную для многих видений формулу: “возлег опочинути”, а также рассказывает о своем настроении и о том, что предшествовало сну (печаль, усталость, ужас, болезнь и т.д.): “...с великою боязною возлег опочинути”; “...от печали тоя великия наиде на мя сон”; “И много тосковал... И наиде на мя яко сон”; “И уже изнемог... И возлег на земли...”. Эти настроения влияют и на дальнейший ход событий в видении.

Герой терпит муки, страдает и взывает к помощи высшей силы. Для этого типа видений характерно замедленное повествование. Автор использует короткие синтаксические конструкции, которые позволяют ему детально описать обстановку и передать свое ощущение увиденного: “И отворишася сенныя двери... И паки келейныя двери отворишася, и внидоша в келию ко мне два беса, и поглядели на меня, и скоро вспать возвратилися... Аз ... смотрю по келейце моей туды и сюды. А в келии светло. А я лежу на левом боку...”. Таким подробным описанием автор призывает читателя вместе с ним удивляться чуду.

Другой ход событий заложен иным распространением формулы перехода ко сну. Здесь автор подчеркивает либо собственную усталость, либо обыденность происходящего: “...и утомяся довольно и возлег опочинути...”; “возлегшу ми по обычаю моему на месте моем обычном...”; “возлегшу ми опочинути от труда...”; “по выше реченному по обычаю моему, возлег на одр мой опочинути” и т.п.

Для большего эмоционального насыщения автор использует в формулах видения риторические восклицания и вопросы: “Ох, ох! Горе мне, бедному!”; “Ох, ох! Горе, горе тех дней!”; “Что все творится надо

мною, бедным?». Он детально развивает картину физической борьбы с бесами и придает им черты могучих и опасных противников: «бес, яко лютой и злой разбойник»; «Беси же таки, – что день, то пуце устрашают мя и давят»; «И вскочил ко мне в келию бес, яко злой и лютой разбойник, и ухватил мене за горло...». Для стиля Епифания характерны детальные, подробные, натуралистические описания, которые создают эмоционально-напряженный фон повествования. Этой же цели служит введение автором разговорных оборотов (прямая речь, диалог, отдельные реплики, подслушанные в жизни, прямое обращение к читателю). Разговор автора с побежденным бесом имеет бытовой характер: «и рече ми бес сице: Уже я опять к тебе не буду, иду на Вытерьгу. (Бе бо Вытерга, волость велика, тамо есть)». На что Епифаний отвечает: «Не ходи на Вытергу, иди тамо, где людей нету». Также для этих видений характерно частое употребление глагольных форм совершенного вида и наречий, подчеркивающих быстроту действий: *вскочил, ухватил, согнул вдвое, сжал крепко и туго зело*.

Епифаний всегда указывал, в каком именно из свойственных ему планов сознания протекает то или иное действие или явление. Ведь для того, чтобы полностью признать или отклонить какой-либо факт, автору необходимо учесть «сон» и «явь» как равноправные для него формы бытия. Например, пользуясь традиционными формулами, он указывает, что бес «пакости творяше во сне» или «на яве».

Часто Епифаний передает удивление героя по поводу каких-либо необыкновенных явлений. Он отмечает свою психологическую реакцию на происходящее во сне: «Аз же зрю во гроб на Ефросина и дивлюся...». Освещая как бы изнутри открывающиеся перед ним картины видений, он последовательно сопровождает их фиксацией собственных чувств и настроений: «И нача сердце мое трепетатися во мне, кости и тело дрожати, и власы на главе моей востали, и нападе на мя ужас велик зело». Эмоционально насыщенный фон здесь поддерживается повторяющимся союзом, сходными синтаксическими конструкциями. Собственные действия излагаются автором подробно и в замедленном темпе, который, как замечал А.Н. Робинсон, объясняется привычкой Епифания к рукодельному труду и пристальному наблюдению за ним: «Посем кадило нарядил, и покадил образы, и книги, и келию, и сени, и ино, и начал вечерню пети, и псалмы, и каноны, и поклоны, и иное правило по преданию старца келейнаго. И продолжися правило до полунощи и больше (сие было до крещения Христова за два дни)». Стремясь показать себя читателю в экстатическом состоянии молящегося подвижника, Епифаний повторяет: «воздох руки мои на высоту небесную и завопел великим голосом... сице глаголюще...».

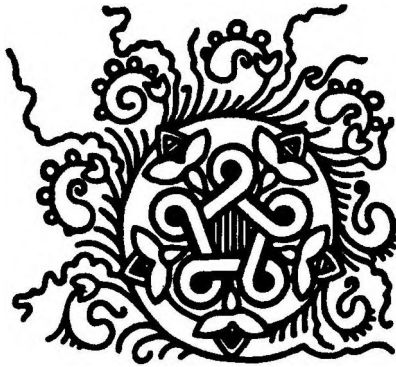
С помощью формулы *мнит ми ся*, появляющейся либо в начале, либо в конце повествования, автор пытается стереть границы между сном и реальностью. В его сознании сливаются две крайности – предельные

экзальтация и рассудочность. Елифанию страшно представить себе получателем откровения лично себя, ему легче считать, что события происходят не наяву: “Мнит ми ся в полунощи или и дале”; “И мнит ми ся тогда на уме моем...”.

Для усиления воздействия на читателя автор употребляет эпитеты, служащие для характеристики его чувств. Елифаний никогда не пытается объяснить чувства других, представляя их только как определенный факт, зато свои беды и напасти подробно и пристрастно описывает, давая исчерпывающую картину собственных переживаний: “и они... отрезоса языки и руки отсекоша: Лазарю-священнику – по запястие, Федору-дьякону – поперег долони, мне, бедному, – четыре перста (осемь костей...) Горе, мне бедному... Как жить?”. Для описания врагов божьих Елифаний использует эпитеты, имеющие негативную окраску, но представлены они недостаточно широко. Встречаются только при описании казней: “зверие лютии, лютии, суровии”. При общем достаточно бескрасочном повествовании очень заметны яркие “световые” эпитеты, которые встречаются при описании божественных чудес, в обращениях к Богородице и Иисусу Христу: “Но пришед ко мне свет-Богородица”; “согрешил пред Тобою-светом и пред Богородицею”; “и вижу себя на некоем поле велике и светле зело”.

В некоторых видениях возникает параллель света и тьмы (темницы) не как привычная нравственная категория, а как некий пространственный ориентир. Темница в сознании автора связана со злом, бедой, болью, от которых нельзя уйти, т.к. пространство героя ограничено стенами земляной тюрьмы: “внидох в свою темницу”; “в скорби, болезни лютой”; “в темнице, яко во гробе”.

Свет же снимает всякие ограничения. Автору необходимо подчеркнуть чистоту (“бело”), простор (“широко стало”), легкость (“ис...света воздушного”). Это дает Елифанию возможность ощутить свободу как в плане реальном, связанном с историей (нет боли, казней, никониан), так и в духовном (нет тела). Но в то же время он ее теряет, как только свет заполняет собой все пространство и тем самым заставляет вернуться героя в телесный мир: “свет велик ко мне в темницу сияет”, “нача свет огустевати”, “образ разлися в свет”, “Аз же отворил очи мои телесныя... А оконце по-старому, якоже и прежде, бысть”. Пережитое в видении в реальной жизни наполняют автора на какое-то время радостью и покоем...



СУТКИ И НИКТЕМЕРОН

*О некоторых закономерностях
употребления слов одинакового значения*

Н.А. ФИЛАТОВА

Общеизвестно, что продолжительность смежных дня и ночи колеблется в зависимости от времени года и географической широты, но сумма их – величина постоянная и представляет собой удобную для счета единицу времени. В русском языке для обозначения этой величины используется существительное *сутки*, известное из письменных источников с 1659 года.

В слове *сутки* традиционно выделяют приставку *су-* и имя, производное от глагола *тькати*. Существует мнение, что «исходный смысл целого “стыки между ночью и днем”, причем только во множественном числе. Это значит, что стыков – не менее двух...» (Мурьянов М.Ф. Слово о полку Игореве в контексте европейского средневековья // *Palaeoslavica*. – IV/1996. Cambridge “Palaeoslavica”. Massachusetts).

Имеются и другие точки зрения. Употребление слова *сутки* во множественном числе связывают с тем, что речь идет не о двух “стыках”, а об одном, но двух сегментов. При этом первоначально словом *сутки* обозначали место и границу столкновения двух пространственных сегментов: стен в избе, домов, дворов, земельных участков и пр. Сутки – “24 часа” – названы по “стыку” дня и ночи (там же).

В романских языках, а также в английском и немецком, нет односложного слова, обозначающего понятие “сутки”, поэтому носителям данных языков приходится прибегать к описательным выражениям ли-

бо наделять понятным из контекста расширительным значением “сутки” существительное, обозначающее понятие “день”. Во французском языке для обозначения указанного отрезка времени используется существительное *jour* (день) либо сочетание слов *jour et nuit* (день и ночь) или *vingt-quatre heures* (24 часа), если хотят быть более точными (Гак В.Г. Беседы о французском слове. М., изд-во “Международные отношения”, 1966).

Наряду с этими бытовыми описательными названиями существует и сравнительно редко встречающееся терминологическое обозначение понятия “сутки” – *le nycthèmère*, пришедшее во французский язык из греческого в конце XVIII века (гр. *nyx, nuktos* – ночь, *hèmèra* – день).

Французские словари дают слову *le nycthèmère* следующее толкование: “Отрезок времени, включающий в себя день и ночь и соответствующий одному биологическому циклу”. Французско-русскими словарями данное слово регистрируется с неизменным значением “сутки”.

Именно в этом значении редкое терминологическое слово *le nycthèmère* используется в работах французского тюрколога Луи Базена. Исследуя древние тексты, он приходит к выводу, что в общетюркской системе основных единиц времени «понятие “никтемерии” (наш “24-часовой день”) отсутствовало» (Цит. по переводу: Л. Базен. Концепция возраста у древних тюркских народов. Зарубежная тюркология. Вып. 1. М., 1986).

Объяснение слова *le nycthèmère* автор приводит здесь же, заключая его в скобки (note “*jour de 24 heures*”). Но, как это ни странно, переводчик не почувствовал в нем простого русского слова *сутки*.

Такой русский перевод не удовлетворил М.Ф. Мурьянова, и он переводит иначе: “Методы сравнительного языкознания позволяют построить общетюркскую систему основных единиц времени... Понятие никтемерона (нашего “24-часового дня”) в ней отсутствовало” (Мурьянов. Указ. соч.). При переводе М.Ф. Мурьянов ориентировался на греческий оригинал французского слова и передал его точно, сохранив при этом присущую ему стилистическую окрашенность.

Никтемерон имеет такую же структуру, как *декамерон* и *гептамерон*. “Декамерон” фигурирует в качестве заглавия известной книги Джованни Боккаччо, повествующей о семи женщинах и трех юношах, в течение 10 дней рассказывающих новеллы. Отсюда и название книги (Декамерон, от гр. *deka* – десять и *hèmèra* – день). Словом *Гептамерон* (гр. *hepta* – семь, *hèmèra* – день) назван сборник новелл, принадлежащих перу Маргариты Наваррской и созданных ею в подражание “Декамерону” Дж. Боккаччо. По идентичной схеме В. Краус составил слово *зеккамерон*.

Итак, во французском языке наряду со словом *jour* в значении “сутки” употребляется и существительное *le nycthèmère*. Слову *jour* отдается предпочтение: оно употребляется гораздо чаще, т.к. принадлежит раз-

говорной речи и хорошо знакомо носителям языка. Но, в случае необходимости, используется и слово *le nycthèmère*, проникшее во французский язык через латынь и имеющее в нем довольно глубокую традицию. Узость его употребления объясняется, с одной стороны, действием правил отбора языковых средств при построении высказывания, т.е. необходимостью строго следовать правилам речи. С другой стороны, она обусловлена фактом его происхождения и историей его появления во французском языке.

Грецизм *nycthemera* появляется в ученой латыни гуманистов к 1564 году. В дальнейшем переходит в научную терминологию на западноевропейских языках. Во французском языке отмечен впервые в XVIII веке в качестве астрономического термина, обозначающего отрезок времени, включающий в себя день и ночь. Расширяя сферу своего употребления, используется в медицинской терминологии, затем в качестве биологического термина. Интересна в этой связи несколько отличающаяся от уже приведенных толкований дефиниция слова *le nycthèmère* словарем Larousse под редакцией Ж. Дюбуа (Larousse de la langue française. Lexis sous la direction de Jean Dubois. Librairie Larousse, 1977): “24 часа, включающие день и ночь; физиологическое единство времени, включающее (для человека и большинства животных) периоды бодрствования и сна, чередующиеся в соответствии с днем и ночью”. Данная словарная статья содержит также производное от *nycthèmère* прилагательное *nycthéméral* – *суточный* и примеры его употребления: *les variations nycthémérales de la température* – *суточные колебания температуры*; *rythme nycthéméral* – *суточные изменения* (температуры).

Таким образом, слово *le nycthèmère* употребляется во французском языке в качестве научного термина, в речи ученых, узкого круга специалистов, в научно-исследовательской и специальной литературе, оставаясь чаще всего малоизвестным как большинству носителей языка, так и основной массе говорящих на французском языке.

В русский язык грецизм *nycthemera* вошел в виде кальки. А поскольку некоторые древние авторы придавали большое значение порядку следования компонентов (“день и ночь”, “ночь и день”), полагая, что он определяет момент начала отсчета суточного времени, кальками представлены обе греческие формы: *дьноноштни*; *ноштедьниц*, *ноштеденица*, *ношеденьница*; *ношедьньство* (в Изборнике 1073 года).

У более поздних авторов, например, у В.К. Третьяковского в оде “Вешнее тепло”, находим: “... без ликовства нет ношеденства [т.е. суток не проходит без праздника]” (Сб. Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Л., 1982).

По тому же образцу, что и в греческом, созданы русские слова: *эфмериды* (гр. *ephēmeris*) – зоол. поденки, однодневки (отряд насекомых); астрономические таблицы; *эфмерный* (гр. *ephēmeros*) – мимолетный,

скоропроходящий; *эфмеры* – однолетние растения; *эфмероиды* – многолетние растения с непродолжительным сроком вегетации; *гемелополония* (гр. *hēmera* день, *alao* зрение) – мед. расстройство зрения, куриная слепота; *ноктамбулизм* (лат. *nox*, *noctis* ночь и *ambulare* гулять) – сомнамбулизм, лунатизм; *ноктюрн* (фр. *nocturne*, букв. “ночной”); *ноктилюки* (ночесветки) – простейшие микроорганизмы, вызывающие свечение моря. В науке существует понятие “эфмеридное время”, а особый ее раздел, изучающий небесные тела и связанный с практикой применения теорий их движения, носит название *эфмеридная астрономия*. Нельзя не упомянуть здесь и слово *панихида* (греч. *pannychida*, букв. “всенощная”, от греч. *pás* – весь и *nýchos* ночь), церковная служба по умершим (в православии).

У каждого народа свой взгляд на реальность. И поскольку при наименовании понятий каждым “языковым коллективом” за основу принимаются разные ее аспекты, то и способы наименования одного и того же понятия в разных языках различны. В любом языке существуют свои тенденции и закономерности, определяющие его своеобразие и характерные особенности. Они, в свою очередь, обусловлены не только наличием в языке тех или иных слов, но еще в большей степени зависят от закономерностей употребления слов одинакового значения.

Московская область,
Орехово-Зуево



НАИМЕНОВАНИЕ ОБУВИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Н.Г. КАРГИНА

Анализ слов, обозначающих предметы обуви, позволил выделить некоторые наиболее типичные признаки, положенные в основу их наименований.

Для словопроизводства славянских, как и вообще индоевропейских языков характерно то, что большинство производных слов имеют основу, обозначающую действие. К эпохе совместной жизни славян относятся ряд общих наименований обуви: *обувь, обувение, обувнице, обувтие, обуца*, восходящих к глаголу *обуть (обувать)* из общеславянского **obutja*. Результат действия, как признак, положенный в основу наименования, отмечается также у различного рода изделий, надеваемых на ноги, а также специальных приспособлений для прикрепления обуви к ногам: *подвертки (от подворачивать)* – портянки из лоскутьев холста, сукна, использовавшиеся вместо чулок. Подвертками обматывали ноги под лапты и оборы; *завои (от завивать, подвивать)* – в Рязанской, Тульской, Калужской областях подвертки называли *завоями*. Их носили летом без лаптей, на босу ногу, зимой – с лаптями, обворачивая ими ступни и голень. Закреплялись завой на ноге оборами; *обороты (от обвирать, обвивать, оборачивать)* – завязки, использовавшиеся для привязывания лаптей к ноге. Оборы были версочные, лыковые, тканые, плетеные, вязаные, ременные.

Предметы обуви получали свое название и в зависимости от цели, с которой надевались: *грязевики* – обувь для защиты ног от грязи, типа калош; *мокроступы* – разновидность обуви, предназначенная для ношения в сырую погоду; *снегоступы* – вид обуви, используемый для ходьбы по снегу.

Другая типичная модель номинации обуви связана с характером изготовления: *валенки (от валять)* – зимние теплые сапоги из сваленной в виде войлока шерсти. Обычно они были с высокими голенищами, круглым носком, плоской подошвой без каблука; *катанки (от катать)* – разновидность валенок; мужская и женская обувь для зимы, катаная

из овечьей шерсти. Катали их специальные мастера – *катали, пимокаты; вязанки* (от *вязать*). В XIX – начале XX века в Калужской и Енисейской губерниях *вязанками* (*вязенками*) считали чулки, вязанные из черной и белой крученой шерсти домашнего прядения. В Самарской и Симбирской губерниях слово *вязанки* использовалось применительно к вязаным женским сапожкам; *плетенки* (от *плести*) – в XIX веке так называли в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях женскую обувь, плетенную из черных, красных, зеленых, желтых, синих полосок ткани, на суконной подошве, типа глубоких туфель, стягивавшихся сверху на шнурок (в наши дни *плетенками* в разговорной речи называют летнюю обувь, верх которой сделан из сплетенных ремешков); *нашевни, пришивы, пришитки, притачки* (от *шить, тачать*) – разновидности сапог по покрою, отдельные детали которых могли нашиваться сверху на голеностопную часть (*нашевни*), могли пришиваться к другим деталям, например, к голенищу (*пришивы, пришитки*) или могли сшиваться между собой тачным швом – встык (*притачки*).

Мотивирующим признаком для названия обуви становился и материал, из которого она изготовлена: *вельверетки* (от *вельверет* “бумажная ткань, род мохнатого бархата”) – женские праздничные туфли, распространенные в Енисейской губернии в XIX веке; *вельветки* (от *вельвет* “напоминающая бархат хлопчатобумажная ткань с густым ворсом, имеющая обычно на лицевой стороне продольные рубчики”) – обычно называют туфли с верхом, сшитым из вельвета; *портянки* (от *портянина, портнина*, “узкий, грубый холст”) – обертки, онучи, подвертки под обувь. Именовалась обувь и по частям тела животного, из которого ее производили: *волосяники* (от конский волос) – лапти, сплетенные из конского волоса; *камысы* (от *камыс* “полоса шкуры с оленьей ноги”) – мужские сапоги из оленьих камысов на Севере, употреблялись обычно на охоте; *черевики* (от *черв* “шкура, снятая с живота зверя”) – на Украине и юге России женские узконосые сапожки на каблуках.

Обувь могла получить свое название и от особого способа обработки шерсти, войлока: *чесанки* (от *чесаная шерсть*). Тонкие и мягкие валенки из чесаной шерсти; *кошмы* (от *кошма* “войлок”). В XIX – первой четверти XX веков на Алтае были распространены кошмы, “чулки из валеной шерсти, войлока”, надевавшиеся внутрь чарков.

Материал растительного происхождения, использовавшийся для изготовления обуви, также становился ее наименованием: *берестяники* (от *береста*) – лапти, сплетенные из бересты; *лыченицы* (от *лыко*) – лапти, сплетенные из лыка.

Позднее в основу названия обуви стали входить и синтетические материалы: *микроторка* (от *микротористая резина*). В обыденной речи часто используется название *микроторки* применительно к обуви на подошве из микропористой резины.

Основанием для номинации предметов обуви служит и название ча-

сти тела человека, в частности, нога: *ноговицы* – принадлежность обуви, закрывающая голень с коленом. В современном мире такая обувь не используется, в связи с чем устарело и само слово. Для сравнения можно заметить, по той же модели, что и *ноговицы* в русском языке было образовано слово *рукавицы*. *Паголенки* (от *голень*) – часть чулка без ступни, прикрывавшая только голень. Аналогичным образом в основу другого собственно русского наименования *наголенки* “чулки без ступни” было положено название части ноги (голень), на которой они носились; в таких наименованиях обуви, как *плеснецы* (от *плюсна*, *плюсница* “стопа, ступня”) и *футли* (жарг., от англ. *foot* “ступни”) тоже заложено название той части ноги, на которую они надеваются.

В основе номинации обуви может быть и такой признак, как внешнее сходство с каким-либо предметом: *дутики* (разг.) – сапоги, имеющие очень “надутый” вид, напоминающий воздушный шар; *колеса* (жарг.) – обувь, копирующая своей толстой подошвой роликковые коньки; *копыцца* (разг.) – разновидность подошвы (а точнее, каблука), имеющая форму копыта; *лодочки* (разг.) – вид женских изящных туфель в форме лодки; *манная каша* (разг.) – ослепительно белого цвета синтетическая толстая с крупинками подошва.

Обувь могут характеризовать и особенности ношения, например, *босовики* и *босоножки*. В основе номинации этих слов лежит принцип, который подчеркивает, что данные виды обуви предназначены для ношения на босу ногу. В Словаре современного русского литературного языка слово *босовики* дается с пометой *устар.* и *обл.* В прошлом веке оно обозначало различную по типу и материалу обувь. Во многих северных и центральных губерниях Европейской России *босовиками* назывались кожаные туфли на жесткой подошве с широким каблуком, острым или круглым носком, твердым задником и высокими бортами. В Тамбовской губернии так называли любого фасона обувь на кожаной подошве. В некоторых селах Сибири *босовики* – это короткие суконные или волосяные туфли. Во Владимирской, Вятской, Орловской губерниях *босовиками* назывались лапти. Но всюду босовики были обычно будничной обувью, их надевали на босу ногу (что и отразилось в названии), выходя на улицу по разным хозяйственным делам. *Босоножки* – легкие летние женские туфли обычно открытые, без задника, которые носят преимущественно на босу ногу.

Многие названия обуви в славянских языках являются заимствованными из других языков, но общие принципы, представления, положенные в основу наименований, зачастую становятся универсальными. Например, такой признак обуви, как размер, положен в основу слова *ботфорты*. Высокие сапоги, имеющие голенища с широким раструбом. Слово заимствовано из французского языка в результате сложения *bottes* “сапоги” и *fortes* “большие”. У Даля читаем: “Употреблялись в тяжелой коннице”. О ботфортах как принадлежности военного обмун-

дирования писал и Игнатьев в своем романе “50 лет в строю”: “Камерпажи были еще наряднее – в белых лосинах, лакированных высоких ботфортах и со шпагами на старинных золотых португелях”. В этом значении слово устарело. Однако в разговорной речи мы часто называем *ботфортами* женские сапоги выше колена. Размер сапог – *большие* – применительно к этому виду обуви в данном случае и означает высокие.

По этому же признаку получили свое наименование *малье* – детская обувь малых размеров в севернорусских диалектах; *полусапожки* – женские сапоги с укороченными голенищами; *полуботинки* – закрытые туфли на шнурках, ниже щиколотки (ср.: *ботинки* – обувь на шнурках, молнии, пуговицах и т.п., закрывающая ногу по щиколотку).

В основе наименования обуви может лежать и такой признак, как назначение по роду деятельности: *балетки* (разг.) – туфли для занятий балетом; *баскетки* (разг.) – спортивная обувь, предназначенная для игры в баскетбол; *борцовки* (спец.) – ботинки, надеваемые борцами во время борьбы; *тенниски* (разг.) – спортивная обувь для занятий теннисом.

Наименование обуви может быть дано по отдельной ее части: *шиповки* (от *шпы*, разг.) – спортивная обувь для бега, имеющая шипы на подошве; *липучки* (разг.) – обувь с застежкой на “липучке”.

И, наконец, обувь может называться по фирме-изготовителю: *адидаски* (разг.) – обувь для занятий спортом, изготавливает которую фирма “ADIDAS”.

Таковы основные принципы наименования обуви в русском языке. Кроме перечисленного, мотивировкой для названия обуви могут служить и другие признаки, в частности, в основу наименования слова *боталы* “не в меру большие, просторные сибирские сапоги” было положено производимое при ходьбе в них впечатление (от *ботаться* “болтаться”); *илепанцы* (разг.) – просторные домашние туфли, обычно без задников, получили свое наименование от звуков, издаваемых при ходьбе.

Курган



ВЛАДИМИР – WALDEMAR

Н.В. КОМЛЕВА,

Г.В. СУДАКОВ,

доктор филологических наук

Имя человека – зеркало культуры народа. Но в развитии языков у разных народов есть знаменательные совпадения. К таким относятся, например, двусловные имена собственные. Они имеют в своем составе не менее двух корневых морфем с соединительной гласной или без нее: русские *Владимир*, *Людмила*, немецкие *Зигфрид*, *Гертруда*, английское *Роберт*, греческое *Леандр*.

Чем вызвано их появление? Когда был пик их употребления?

Факт наличия сложных собственных имен в иранских, германских, кельтских, греческих, славянских старинных текстах позволяет отнести начало появления этих имен к глубокой древности.

Т.В. Топорова, изучавшая подобные имена в немецком языке, считает, что они служили для обозначения представителей высшей знати в период “военной демократии”, когда военная дружина во главе с вождем была главным институтом власти (Топорова Т.В. Язык в зеркале культуры: древнегерманские двучленные имена собственные М., 1996). Высказывались мнения, что такие имена давались только людям из благородных сословий, знатного происхождения, и имели эти имена провидческий характер, обещали своему носителю счастливую судьбу.

Если, действительно, *Людмила* – “людям мила”, а *Эберхарт* – “силен, как дикий кабан”, то интересно выявить и сравнить другие понятия и свойства, которые отмечались как положительные у разных народов приблизительно на одном этапе их исторического развития, например, в чем видели “тевтонский дух” древние германцы, а что ценили в жизни и в человеке наши славянские предки. При этом будем учитывать, что основы сложных имен напоминают кусочки мозаики, которые можно складывать по-разному, но значение целого не будет равно сумме значений частей. Чем древнее сложное имя, тем меньше зависимость между смыслом всего слова в целом и значением его компонентов.

Значимость человеческой личности в сознании этноса в разные эпохи не была одинакова. Менялся общественный статус человека как члена общества – менялся и статус категории собственного имени, менялась структура наименования человека. Судьба сложных имен в этой связи особенно показательна.

Первые индивидуальные именованья человека были вызваны не только функциональной необходимостью общения, но и стремлением создать для биологической сущности человека ее знак – некий смысловой фантом, который люди древних эпох воспринимали как независимую от человека духовную сущность. Идеальным казалось, если это был сложный знак, целый комплекс смыслов, причем – с положительной коннотацией: *Святослав, Добромысл*. Такие сочетания смыслов отражали феномен народного самосознания, нравственные предпочтения этноса. Кроме того, сложное имя лучше, чем односоставное наименование, выполняло охранную функцию.

Повторяемость имени, приложимость его к разным личностям постепенно приводят к семантической редукции сложных слов. Конечно, сложное (двусоставное) имя хранит смысловую заданность чуть дольше, чем простое (одноосновное), но судьба всех имен примерно одинакова. Первоначальная установка иметь для каждого человеческого индивидуума его персональное, неповторимое имя заменяется желанием хотя бы передать имя по наследству, сохранить его как родовое: *Иван Николаевич, сын Николая Ивановича и внук Ивана Николаевича*.

Но рассмотрим учитываемые в древних сложных именах те свойства и признаки, которые были значимы с точки зрения их носителей, памятуя, что сами эти имена возникли в дописьменную эпоху, а ко времени письменной фиксации претерпели известную семантическую эволюцию. Сравним с этой точки зрения два ономастикона: древне немецкий и древнерусский.

Древне немецкий список сложных имен (Fleischer W. Die deutschen Personennamen. Berlin, 1968) учитывает шесть семантических сфер:

1. Слова со значением “борьба”, “битва”, “сражение”, “воинство”, “доспехи”, “копье”: *Gundbald* (битва + смелый), *Brunhild* (доспехи + битва), *Gunther* (битва + войско), *Siegfried* (победа + мир), *Gertrude* (копье + сильная), *Matilda* (сила + битва). У немцев это самая продуктивная группа.

2. Имена, производящие основы которых восходят к названиям животных. Сила, ловкость и незнание страха у животных вызывали завистливое желание древних германцев заимствовать эти качества: *Bernhart* (медведь + сильный), *Wolfgang* (волк + путь). Для женского имени предпочиталась основа *Swan* “лебедь”; *Swanhild* (лебедь + битва).

3. Мифологическая и сакральная лексика – теофорные имена: *Gotfrid* (бог + мир); *Anshild* (бог + битва); где германское *Ans* – старое название бога; *Alberich* (эльф + могучий).

4. Имена существительные со значением родовых или имущественных отношений: *Agalgund* (благородный + битва), *Adelheid* (благородный + род); *Erdmar* (земля + слава).

5. Имена, связанные с образом могущественного и справедливого властелина: *Dietmar* (народ + слава), *Richard* (повелитель + твердый), *Waldemar* (власть + мир).

6. Имена, связанные со значением “любовь”, “дружба”: *Sconiburg* (красивая + защита), *Truthild* (милая + битва). Характерна связь и этих имен с понятиями “битва”, “защита”.

В семантике имен заметно стремление к идеализации, акцентированию положительного, причем древние германцы связывали это с военной тематикой, с достижением власти, при этом и воин, и властитель должны в чем-то походить на животное.

Рассмотрим рядом семантику основ в древнерусских собственных именах (в качестве источников использованы следующие издания: Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М., 1980; Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. М. 1998; Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М. 1974–1994, вып. 1–20). Для удобства сравнения сведем все учтенные качества тоже в шесть групп.

1. Имена, по значению компонентов связанные с военной тематикой: *Бронислав–Бронислава*, *Ратибор*, *Ярогнев*, *Воибор*.

2. Теофорные имена: *Богдан*, *Молибог*, *Богуслав*.

3. Имена с основами “дом”, “гость”, а также со значением родовых и имущественных отношений: *Домажир*, *Радогость*, *Гостомысл*,

4. Имена с основами “мир”, “слав” (ср. в древневерхненемецком близкие к ним имена, характеризующие справедливого и могущественного властителя): *Владимир*, *Владислав*, *Всеволод*, *Ладислав*, *Ладимир*, *Станислав*, *Святослав*, *Святополк*, *Святогор*. У славян это самая продуктивная группа.

5. Имена с компонентом *мил-* (ср. в древневерхненемецком близкие к ним имена со значением “любовь”, “дружба”): *Людмила*, *Милослава*, *Всемир*.

6. Имена с основой *добр-*: *Добромысл*, *Доброслав*, *Добромир*, *Добромил*.

Таким образом, в немецком оказались наиболее распространенными имена, основы которых связаны со значением “война”, “оружие”. Есть такие примеры и в русском (*Борислав*), но они редки. Сосредоточенность древних германцев на вооруженном сопротивлении, военном противостоянии отчетливо проявляется в именнике составных имен.

Выясняется также, что у славян и германцев наблюдалось примерно одинаковое внимание к понятиям “дом” и “гость”.

Воинственному духу древних германцев, проявившемуся в составных именах, противостояли славянские приоритеты: добро, свет, свя-

тость, мир, слава, милость, творчество. В древнерусском именнике наиболее многочисленная группа слов с компонентами *слав-*, *мир-*. Зато практически нет имен с основами, восходящими к названиям животных.

В структурном отношении антропонимические системы русского и немецкого языков применительно к древним двусловным личным именам имеют много общего: сложные имена образованы по одинаковым моделям, наблюдается параллелизм в лексических значениях и в фонетическом составе именных основ. Здесь сказывались и факты заимствования, и изначальная этимологическая близость отдельных основ, например: *Waldemar* – *Владимир*, *Friedbert* – *Мирослав*, *Milbert* – *Милослав*; *Willmar* – *Волимир*, *Gottlieb* – *Богумил*, *Hrodhard* – *Твердислав*, *Ragnwald* – *Розволод*, *Agilfried* – *Остромир*, *Gundheri* – *Патибор*, *Friedgund* – *Патмир*.

Двусловные личные имена – очень древние антропонимические образования, в равной мере распространенные примерно в одно и то же время у многих народов. Примечательна и структурная близость этих имен, особенно в индоевропейских языках. Думаем, что не было прямой зависимости между социальным статусом родителей и сложным именем, избираемым ими для ребенка. Прославление новорожденного специально созданным сложным именем одинаково привлекало как знатного общинника, так и рядового члена этнического сообщества.

Постепенно смысловая структура имен *Владислав* или *Wolfgang*, многократно повторенная при тысячах носителей этих имен, теряет свою свежесть, становится повседневностью. Закрепляя эту обыденность, люди начинают сокращать сложные имена, превращая их в более привычные однословные наименования: *Владислав* – *Слава*, *Wolfgang* – *Wolf*. Сокращению подвергается одна из основ сложного имени или происходит полное усечение этой основы. Но здесь уже начинается современная, совершенно самостоятельная и неодинаковая жизнь сокращенных форм двусловных имен в разных языках. Зависимость сложных имен от культурно-исторических условий их бытования проявляется и в процессе их современного функционирования.

Вологда

Топонимика

Топонимический словарь Центральной России*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Хотькóво. Город в Московской области. Известен первоначально как слобода вокруг Покровского Хотькова монастыря. В 1949 году Хотьково получил статус города. Происхождение названия не ясно. Не исключено, что оно связано с глаголом *хотеть*. Таким образом объясняется название города Хотин в Черновицкой области Украины. Основа *хоть* (*хот*) довольно часто встречается в топонимии, особенно в названиях небольших луговых речек: *Хотежка*, *Хотемка*, *Хотынец*, *Хотымль* и др. (басс. Оки). Возможно, эти речки получили названия по сильнодействующим, возбуждающим прибрежным травам и цветам. Соотнесение топонима *Хотьково* с личным именем *Хотько* (от *Хотимир*) неубедительно, поскольку ни одно из них не известно в русских источниках.

хотькóвцы, хотькóвец, хотькóвка
хотькóвский, -ая, -ое

Хохл. Село в Воронежской области. Известно с середины XVII века (с 1665 г.) как деревня Хохол на реке Девице. В основе названия апеллатив *хохол* “возвышенность, холм, покрытые лесом”, а его производное *хохолица* “заросли кустарника у старицы”, “наносный материал в пойме реки, валежник”. Слово известно во многих славянских языках, преимущественно в западных и восточных. Активно в топонимии, особенно в названиях небольших речек, озер: реки *Хохла*, *Хохолец*, озеро *Хохол* (басс. Оки), река *Хохол* (басс. Дона), *Potok Chochołowski* (басс. Вислы) и др.

хохóльцы, хохóлец и хохлóвцы, хохлóвец
хохóльский, -ая, -ое и хохлóвский, -ая, -ое

Хра́пово. Село в Рязанской области. Известно в писцовых книгах XVI–XVII веков как вотчина Храповых. Прозвище (фамилия) *Храп* зафиксировано в источниках: Храп Иван, крестьянин, 1570 г., Рязань (Веселовский. Ономастикон).

хра́повцы, хра́повец
хра́повский, -ая, -ое

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. № 1–6; 1999. №№ 1–6; 2000. №№ 1–5.

Хрено́вое. Село в Воронежской области (Новоусманский р-н). Известно с 1654 года как Хреновский опасный острожек, т.е. небольшое укрепление (острожек), из которого должны были сообщать в село Орлово о приближающейся опасности. Острожек был основан на Хреновой поляне, заросшей хреном. Это было очень важное растение в жизни человека по своим вкусовым и целебным свойствам, поэтому оно и дало топоним. В Воронежской области есть еще село *Хреновое* в Бобровском районе, хутор *Хренище*, названные по тому же принципу номинации (Прохоров. Вся Воронежская земля).

хрёновцы, хрёновец и хренóвцы, хренóвец
хрёновский, -ая, -ое и хренóвский, -ая, -ое

Хрещáтое. Село в Воронежской области, основанное в начале XIX века. Название дано по балке (оврагу) Хрещатая, поблизости от которой возник хутор, ставший впоследствии селом. В основе названия слово *хрещатый* – разговорная форма от *крестчатый* (по отношению к оврагу “напоминающий крест; имеющий ответвления”). Подобные овраги носят название *Хрещатый* и в других местах Воронежской области: хутор *Хрещатый* на овраге *Хрещатом*.

хрещáтовцы, хрещáтовец
хрещáтовский, -ая, -ое

Цна. Название двух рек в Центральной России – левого притока Оки в Подмоскowie и левого притока Мокши в Тамбовской области. Происхождение гидронима не ясно. Представляется возможным поставить его в один ряд с *Десна*, *Мицена*, *Сосна*, *Цон* (*Оцон*, *Оцна*). Все они расположены в зоне распространения мордовской гидронимии и частично в зоне цокающих диалектов. В низовьях Москвы-реки в бассейне реки Нерской фиксируется вариант реки Десна – *Сна* (в писцовой книге XVI в.). В бассейне подмосковной Цны известен и гидроним *Дсна*. Возможно, это результат освоения формы *Десна* в бывших цокающих говорах московско-рязанской Мещеры. Не исключается и опечатка в писцовой книге по Коломенскому уезду. На реке Цон в верховьях Оки на карте Генерального межевания России указан хутор Цна. Эти материалы дают основание видеть в названии *Цна* (*Сна*) финноязычный элемент, возможно *sose*, *soseen* “болото, грязь”. Поскольку на данной территории имеется гидронимия балтийского происхождения, то не исключено балтийское происхождение данного гидронима, соотносимого с древнепрусским *tusnan* “тихий” (*Tusna* > *ТЬсна* > Цна), – версия, предложенная В.Н. Топоровым и О.Н. Трубачевым (Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья) и подтвержденная Топоровым в более поздней работе по балтийскому элементу в гидронимии Польшы. См. *Десна*, *Мицена*, *Сосна*.

цнáйнский, -ая, -ое

Ча́мзинка (Чау́нза). Эрзянский рабочий поселок в Республике Мордовия. Первые сведения о селении находим в 1863 году. Название ан-

тропонимического происхождения – от дохристианского мордовского имени *Чаунза* (*Чамза*). В XVIII веке поблизости были селения Чемзина, Новая Чамзина и Старая Чамзина. В источниках XVII века часто встречаются имена на *-мза, -нза*: *Вечкинза, Паронза, Промза* и др. (Ин-жеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР); обращает на себя внимание то, что русская деревня тоже носит название *Чамзинка* (*Чаунза*).

ча́мзинцы, ча́мзинец

ча́мзинский, *-ая, -ое*

Чапа́ев. Русский поселок в Республике Мордовия. Основан в начале 30-х годов XX века. Назван в честь легендарного командира, героя Гражданской войны В.И. Чапаева (1887–1919). В другом районе Мордовии есть деревня *Чапаево*.

чапа́евцы, чапа́евец, чапа́евка

чапа́евский, *-ая, -ое*

Чапа́евское. Рабочий поселок в Воронежской области. Переименован из хутора Деминского. Современное название по фамилии героя Гражданской войны В.И. Чапаева (1887–1919). Известны случаи в топонимии Центральной России, когда именем Чапаева называли отдельные части села или улицы, проживание на которых было связано с опасностью и героизмом: во время весеннего разлива рек они были отделены водой от основной части села, оказывались как бы на острове со всеми вытекающими отсюда последствиями.

чапа́евцы, чапа́евец

чапа́евский, *-ая, -ое*

Чаплы́гин. Город в Липецкой области. Первоначальное название, данное Петром I в 1702 году, – *Ораниенбург*, закрепившееся в русском языке как *Раненбург*, а в речи местных жителей как *Ранбов* и *Анбург* (Никонов. Краткий топонимический словарь). В отношении происхождения названия известны два предположения: одно – это перенесенные из Германии, так же, как Ораниенбаум в Ленинградской области. Попытка видеть в нем немецкий перевод русского *Апельсиновый город* неубедительно, поскольку он никак не связан с апельсинами. Петр I заложил его как крепость не месте села Слободского, принадлежавшего А.Д. Меншикову, а сведений об апельсиновой оранжерее нет. В 1948 году он был переименован в Чаплыгин в честь замечательного русского ученого А.С. Чаплыгина (1869–1942), родившегося здесь, известного своими исследованиями в области аэродинамики, механики. Фамилия *Чаплыгин* известна с XVI века в источниках, относящихся к Рязани: Чаплыгин Климентий Романович, XVI в., Рязань; Чаплыгины, XVI–XVII вв., Рязанский уезд (Веселовский. Указ. соч.).

чаплы́гинцы, чаплы́гинец, чаплы́гинка

чаплы́гинский, *-ая, -ое*

Чеберчино. Село в Республике Мордовия. Оно известно с 1624 года,

принадлежало одному из алатырских воевод. Название, видимо, дано по реке Чеберчинке, на которой оно основано. Предполагают, что в основе названия татарское слово *чебер* “красивый” (Инжеватов. Указ. соч.). Не исключено, что в основе гидронима широко распространенные в русских народных говорах слова *чебер* (*чабер*) – название душистой травы *чабрец*. Известна фамилия (прозвище) *Чабер*: Чабер Василий – 1628 г., Белев (Веселовский. Указ. соч.).

Чекáлин (1565)*. Город в Тульской области. Впервые упоминается источниками в 1565 году под названием *Лихвин* (вероятно, из *Ливин*, где *хв* – особенность южновеликорусского произношения *в* как *ф* и *хв*. Если это так, то топоним можно объяснить через *ливня* “топкое место на берегу реки” или через мордовские соответствия (см. *Ливны*). Название *Чекалин* дано городу в 1944 году в память об Александре Чекалине (1925–1941), юном разведчике партизанского отряда, Герое Советского Союза, казненном фашистами в этом городе в 1941 году. Есть основание связать фамилию *Чекалин* с *Чекалкин*, известной в русских источниках в 1646 году: Чекалкин Лука – посадский человек из Казани. С.Б. Веселовский связывает её с диалектным *чекалка* “полевая мышь” (Веселовский. Указ. соч.).

чекáлинцы, чекáлинец и лихвинцы, лихвинец

чекáлинский, -ая, -ое и лихвинский, -ая, -ое

Челновáя. Река в Тамбовской области, левый приток Цны в бассейне Мокши. Существуют две версии происхождения гидронима. По одной, его соотносят со словом *чёлн* “небольшое речное судно”, это якобы свидетельствует о том, что когда-то эта река была судоходной. Другое предположение основано на том, что река протекает по болотистой местности, где часто встречаются небольшие сухие островки, холмы (гривы), покрытые лесом и названные *челны*. Аналогичная картина наблюдается по берегам реки Цны и Вороны (Яковлева А.П. К вопросу о названии рек в Тамбовской области // Вопросы краеведения в школах и педагогических институтах. Тамбов, 1982).

челновáя, -ая, -ое

Червáтово Большо́е. Село в Нижегородской области. Известно с XV века как селение около месторождения железной руды и металлургического производства. Поблизости – деревня Череватово Малое. По мнению Л.Л. Трубе, в основе топонима мордовское мужское имя *Череват* (Трубе. Топонимия Горьковской области). *Большое* и *Малое* отражают размеры селения, а возможно, и время их появления – *Малое* как выселок из села Большое Череватово.

червáтовцы, червáтовец, червáтовка

червáтовский, -ая, -ое

Черемис. Русское село в Республике Мордовия. Известно в документах 1613 года как деревня *Дракино* (*Черемис*). Топоним имеет этнический характер: *черемисы* – более раннее название марийцев, которые,

видимо, основали его и жили здесь. *Дракино* может быть связано или с дракой (в деревне, за деревню) или с фамилией владельца (первопоселенца) *Дракина*.

черемисцы, черемисец, черемиска и черемисинцы, черемисинец, черемисинка,

черемисский, -ая, -ое и черемисинский, -ая, -ое

Черкасское. Село в Воронежской области. Основано в середине XVIII века, находится недалеко от места впадения реки Битюг в Дон около болота Черкасское, бывшего озером. Как считает В.А. Прохоров, здесь в XVII веке недолгое время жили украинцы, которых называли *черкасами* (Прохоров. Указ. соч.).

черкасцы, черкасец, черка́ска и черка́совцы, черка́совец, черка́совка

черка́сский, -ая, -ое и черка́совский, -ая, -ое

Черноголовка. Поселок в Московской области. Название дано по реке Черноголовка, поблизости от которой он основан. Словом *черноголовка* в диалектах русского языка называют некоторые растения и птиц (Даль. Т. IV). Видимо, в основе названия – гнездовье птиц черноголовок или обилие растений на берегах этой небольшой речки.

черноголовцы, черноголовец

черноголовский, -ая, -ое

Чернь (1971). Рабочий поселок в Тульской области. Название дано по реке Чернь. В основе гидронима несомненно лежит апеллятив *чернь* со многими значениями: “труднопроходимый лиственный лес”, которое отмечается у этого слова на севере лесостепной зоны: “земля темного цвета”, а также “земля черного (темного) цвета в котловинах на полях, образованных после высыхания болот” (Мурзаев. Словарь народных географических терминов). Поскольку название первоначально относилось к реке, на которой появился поселок Чернь, вероятнее всего, в основе его *чернь* в значении “черная, темная земля (дно у берега речки)”. К тому же, речка Чернь – приток реки Зуши – протекает в зоне черноземных полей. Небольшие речки с названием *Чернь* известны в черноземном левобережье Оки – в Орловской области.

черняне, чернянин, чернянка и чернянцы, чернянец

чёрнский, -ая. -ое и черня́нский, -ая, -ое

Чертовцы. Село в Воронежской области. В форме *Чертовщицкое* название известно еще до основания Воронежа, в XVI веке. Здесь же *Чертовщицкая Поляна*. Как считает В.А. Прохоров, эти земли были откуплены рязанцами и, возможно, имели границу, рубеж, называвшийся в древнерусском языке и в русских диалектах словом *черта*; ср. *чертить* “проложить борозду; вспахать”.

чертовцы, чертовец и чертовчәне, чертовчанин, чертовчанка

чертовщицкий, -ая, -ое

Чесменка. Село в Воронежской области. Основано, видимо, в вось-

мидесятых годах XVIII века. Название связано с именем графа А.Г. Орлова-Чесменского, получившего добавление *Чесменский* в честь победы русского флота над турецким в Чесменской бухте в 1770 году. Как сообщает В.А. Прохоров, граф получил в подарок местные земли, на которых поселил крестьян и одно из селений назвал *Чесменка*.

чѣсменцы, чѣсменец

чѣсменский, *-ая, -ое*

Чѣхов (1954). Город в Московской области. Название дано в связи с пятидесятилетием со дня смерти великого русского писателя А.П. Чехова (1860–1904), который в течение нескольких лет жил поблизости в имении Мелихово (1892–1899). Прежнее название города – *Лопасня* по реке Лопасня, на которой он расположен. Не исключена связь гидронима с балтийским *lobas* “низина, низинный луг”, “большая впадина”, “долина”, “русло реки” (Невская. Балтийская географическая терминология). Возможно и русское *лоб* “самая высокая (оголенная) точка горы, крутого берега, имеющая форму лба”.

чеховчѣне, чеховчѣнин, *устар.* лѣпасни́цы (лопѣсненцы), лопѣсни́нец (лопѣсненец)

чѣховский, *-ая, -ое*; лопѣснинский (лопѣсненский), *-ая, -ое*; *устар.* лопѣсенский

Чѣрная. Название многих небольших рек, речек и озер в лесных и болотистых местностях в Ленинградской области, в Мещѣрской низменности и др. На Черной речке, притоке Большой Невки в 1837 году был смертельно ранен на дуэли А.С. Пушкин. Название дано по темной или мутной воде, обусловленной особенностями почвы в районах этих рек.

Чигорѣк. Село в Воронежской области. Основано в первой половине XVIII века на реке Чигорак, по которой оно названо. В основе гидронима тюркское *чигорак* “источник” (Прохоров. Указ. соч.)

чигорѣкцы, чигорѣкец

чигорѣкский, *-ая, -ое*

Продолжение следует



Баю-баюшки, не ложись на краюшке...

О смертных “байках”

Л.Р. ХАФИЗОВА

В исследованиях детского фольклора представляют особую тему для обсуждения так называемые “смертные байки” – колыбельные, в которых ребенку, как это ни странно, желают умереть. Например:

Бай да люли,
Хоть сегодня умри:
Завтра похороны;
Послезавтра мороз, –
Понесем на погост;
Мы снесем тебя к Миколы
Под большие колоколь;

Три дни пропустим –
 В сыру землю опустим;
 Послезавтра снег, –
 И няньку вслед (олонецк.).

Вполне понятно, что исполнение подобного рода текстов детям, да и само их существование, может вызвать недоумение. Впрочем, объяснения этому явлению находят, и самые разные. Например, тяжелые условия жизни крестьян, в которых лишний рот воспринимался как обуза. Такой точки зрения придерживались Э.В. Померанцева, Е.В. Гиппиус, Г.Г. Шاپовалова, Э.С. Литвин. Считают также, что эти песни относились к определенного рода детям – незаконнорожденным, очень слабым, больным, то есть тем, кому жизнь сулила множество физических и нравственных мучений. Так полагает А.Н. Маргынова. Видят в этих текстах и магический смысл: мать или нянька стремились “обмануть” болезни и смерть, угрожающие ребенку. Так считает, в частности, В.П. Аникин. Некоторые видят в магической природе лишь истоки этих песен, которые потом “превратились в зловещее отражение невыносимых, нечеловеческих условий жизни матери-крестьянки” (Э.С. Литвин).

Разумеется, все эти точки зрения имеют право на существование и, конечно, находят подтверждение в фактическом материале – объяснениях, данных исполнителями этих песен: «Раньше-то было много детей, иным было – хоть умри, хоть не мучайся»:

Баю, баю, баю, бай
 Ты живи, не умирай.
 Если нынче умрешь –
 Завтра выхолонёшь.

Послезавтра мороз –
 Повезем на погост.
 На погосте звонят,
 Нашу детку хоронят.

На погосте отзвонили,
 В сыру землю схоронили.
 Призасыпали песком –
 Пошли завывли голоском.

Девочке могли сбайкать:

Спи, моя сугревушка,
 Маткина замонушка.
 Кабы нам эту замену
 Схоронить в сыру земельку...

Три недели пройдет –
 С панафидой мать пройдет.
 Будут детку поминать –
 Нам боле детки не видать.

Эта песня была, когда давали землю только на ребят, а девочки в семье были “лишними”. Хоть и жалко, а кормить-то нечем!» (Золотая веточка. Книга для родителей и воспитателей. Сер. Русская традиционная культура. I. 1997. Вып. 1).

Но обращает на себя внимание тот факт, что подобные комментарии в реальной практике работы с исполнителями – редкость. Как правило, на прямой вопрос о существовании этих сюжетов собиратель получает отрицательный ответ. Но в тех случаях (сейчас это редкость и всякий раз удача для собирателя), когда удается сделать полноценную запись процесса укачивания ребенка, этот сюжет возникает практически всегда. Можно предположить, что уже описанные мотивировки его существования – вторичны, что в основе их лежат более глубокие мифологические представления.

Приступая к рассмотрению текстов, бытующих в народной традиции, необходимо принимать во внимание картину мира, сложившуюся в традиционном сознании. Говоря о текстах песен, в которых образ ребенка является центральным, а ситуация исполнения рассматривает его как объект воздействия со стороны и исполнителя, и потусторонних сил, необходимо учитывать особенности представления о ребенке в традиционной культуре и особенности положения его в человеческом коллективе.

Традиционное сознание видит мир разделенным на две части – “свой”, освоенный человеком, и “чужой”, противопоставленный человеческой культуре, в котором живут боги, предки, демоны, куда, умирая, уходят люди, и откуда, рождаясь, человек приходит. И рождение осмысливается как переход из одного мира в другой, из “иного” в “этот”. Но факт родов не означает простое перемещение существа: «Новорожденный не считается человеком (и даже просто ребенком) до тех пор, пока над ним не совершен ряд ритуальных действий, основной смысл которых... состоит в том, чтобы “превратить” его в человека» (А.К. Байбури). Эти ритуальные действия начинаются с обрезания пуповины и отделением тем самым от тела матери и продолжают обмыванием как обрядовым очищением от того, “что указывает на его принадлежность нечеловеческому”; одеванием, наречением именем, крещением и празднованием рождения, укладыванием в колыбель; ритуалами, сопровождающими и оформляющими прорезывания зубов, отлучение от груди, начало самостоятельного хождения, говорения.

Таким образом ребенок постепенно приобретает необходимые для человека жизненные и культурные навыки, отдаляющие его от мира природного, не-человеческого. Но долгое время еще он находится в маргинальном положении – “он почти выделен из сферы чужого, нечеловеческого, но еще не полностью включен в мир людей” (А.К. Байбури).

Соответственно, новорожденный подвержен различным опасностям, исходящим из *того* света, но, с другой стороны, и сам является опасным для людей как сохраняющий еще признаки мира смерти. Особенно это ощущается в период от рождения до крещения. Так, внести некрещеного ребенка в чужой дом значило принести туда несчастье. Воду, в которой купали или крестили новорожденного, выливают в особое место, как и после обмывания покойника, считая ее нечистой. Одного ребенка стараются не оставлять, так как нечистая сила может подменить его: “И ребёнка одного не оставляют. Скажут тут всё обменят. Обмен уж будет. [Кто обменяет?] А вот кто, не знаю, кто. Видно, какой-нибудь хозяин обменяет. Леший, видно, обменяет. Обменяши. Раньше же говорят как? Вот, не говорит, не ходит – обменяши. Обменяли. Ну дали вот такого худого, а хороший куды-то исчез. Вот и всё” (кагопольск.).

Для ребенка, особенно некрещеного, опасность сглаза, порчи особенно велика, поэтому младенца стараются никому не показывать: “Если маленький ребёнок – не давали смотреть. Какой человек придет – они закрывали ребёнка: сглазывают, говорят” (кагопольск.), а возле него помещают ряд предметов-оберегов: икону, написанную молитву, крест, различные острые металлические предметы (нож, ножницы, топор), предметы, связанные с метанием и, следовательно, способностью выметать дурное, нечистое (веник, метла, помело), соль и т.д.: “Ребёнка нельзя оставлять одного. А в кроватку чего, иконку или ножницы подложат. Бывает, штоб спали лучше, дак ножницы да ножик-да. (...) Под подушку” (кагопольск.).

Один из распространенных типов сюжетов в текстах колыбельных песен – это предостережение ребенка от посещения опасных для него, еще не ставшего полноценным человеком, мест. Таковым оказывается всё пространство, внешнее по отношению к ребенку: *конец* или *край* (этим термином обозначается и *край* колыбели, на который ребенку не следует ложиться, и *край* деревни, и т.п., важен здесь основной признак – не в середине, а на краю, на границе с *другим*), *озеро*, *земля*, *вода*, *море*, *лужок*, *улица*, *лес*, *река*, *берег*, *чужая деревня*, *мельница*, *окно*, *сени* и т.д. Обязательно подчеркивается опасность внешнего по отношению к ребенку мира и присутствует запрет на выход ребенка за пределы своего пространства: “Не ходи туда на край; Не ходи ты на лужок; Не ложись на краюшке; Не ложися на краю...”.

Свое же, неопасное, защищенное пространство, как правило, не обозначено какой-либо лексемой, и лишь подразумевается, что это то место, где ребенок находится в данный момент. Удаленность же от него может быть выражена по-разному, но в любом случае она определена как опасность: “Саша перышко, / Не летай в озерышко, / Ты улетишь высоко, / Упадешь глубоко, / Уж ты на землю падешь – / Тебя мышка

съест./ Уж ты на воду падешь – / Тебя рыбка заклюет...”; “Васинька дружок, / Не ходи ты на лужок, / Потеряешь сапожок, / Тебя мышка съест...”; “Выну из зыбки/Кину в море рылке; *В том конце / Там ребята драцюны...*”; “Не ходи *туда на край*. Да у своей избы играй”; “Не ходи гулять *на край*, / *На краю живёт Бабай*, / На другом – Тарабай; Не ложись, Петя, на край: / Придет серенький волчок, / Схватит Петю за бочок...”; “Баю-баюшки, / Не ложись на краюшке: / Придет серенький волчок, / Тебя схватит за бочок”.

Интересно то, что границы “своего”, защищенного пространства сужаются до границ колыбели (выну из зыбки, кину в море рылке”), ее края (“не ложись на краюшке”) и самого ребенка (“не ложись на бочок”). “Чужое начинается там, где кончается свое, и эта граница путешествует вместе с человеком” (А.К. Байбурин), центром “своего” пространства в колыбельных песнях становится ребенок.

Но для всех этих типов “опасных” мест характерно то, что таковыми они становятся исключительно потому, что в них обитают опасные для ребенка персонажи. Причем основное, что грозит ребенку при их появлении – это быть унесенным туда, откуда они появились. Это пространство может быть обозначено конкретными реалиями: *лесок, кусток*, куда утащит ребенка серенький волчок; *во лесок, под ракитовый кусток, за пень, за колоду, под белую березу*, где ангелы поют, ко себе сына зовут, куда его унесет *серенький коток; лядинка* (пустошь, покинутая и заросшая земля), откуда прибежал *зай* (*заяц*), который просит отдать ему ребенка.

Опасность проявляется и за счет свойств грозного персонажа, про которого говорится, что он *приходит* из чужого, далекого пространства, просит отдать ему ребенка, чтобы *унести* его с собой:

Баю-баюшки,
 Не ложись на краюшке:
 Придет серенький волчок,
 Тебя схватит за бочок
 И утащит во лесок,
 За ракитовый кусток,
 А там волки воют,
 Тебе спать не дают (новгор.).

Рассмотрим, в какие же места собираются утащить ребенка пришедшие за ним *серенький волчок, коток* и проч. Они несут его: *в (темный) лесок, зарывают в (желтый) песок, под/за ракитовый (малиновый/зеленый) кусток, на краек, за пень, за колоду, под белую березу, где ангелы поют, ко себе сына зовут, где волки воют, в ямочку:*

Придет серенький коток,
Сынка схватит за бочок
И утащит во лесок
Да зароет во песок,
Под ракитовый кусток,
За пень, за колоду,
Под белую березу;
Там и ангелы поют,
Ко себе сына зовут.
А баю-баю-баю,
Не ложися на краю,
Ложись на середочке.
Придет белый волчок,
Хватит Ваню за бочок,
Понесет в темный лесок,
Закопает в желтый песок,
А сам сядет за малиновый кусток (калужск.).

Но интересно, что подобное же путешествие младенцу предлагается совершить в сюжетах с пожеланием ему смерти и описаниями его похорон. Ребенка несут хоронить все туда же: *во лесок, под кусток, во песок, во желты пески, за пень, за колоду, под березу, под крест, под сини камешки, во сыру земелюшку, под бел камень, под ёлочки, на плешивой горе, под большие / святые колоколы, на погост*, неоднократно спрашивается о том, *нет ли местичка в раю, / Хоть на самом на краю:*

Ты обманешь-проведешь –
В сыру землю спать уйдешь,
Баю-баюшки-баю.
Ты во желтые пески
Да под сини камешки,
Баю-баюшки-баю.
Во сыру земелюшку
Тебя схороним, девушку...
А я байкаю качаю
Петру Павлу завечаю
Петру да Павлу Приподобному Макарию.
Еще к Егорию да Николе
под святые колоколы... (каропольск.).

Все упомянутые места встречаются в текстах, исполняющихся в моменты установления контакта человека с иным миром. В текстах заговоров это места ссылки болезней и напастей: "... не пустит тебя ни пень, ни колода, ни ракитова порода... (валдайск.); "... поди ты, притча и порча, на пуст лес, на сухое пене и на гнилое колоде ..." (олонецк.); "...быть тебе по болотам, по гнилым колодам, за темными лесами, за крутыми горами, за желтыми песками..." (воронежск.).

В причитаниях это места обитания умершего: “Приукрылся наш желанный, родный дядюшка / Он за темные леса за дремучии, / За высокие горы за толкучие, / За синии моря да за глубокии...” (олонецк.), его зовут обратно и ждут его появления оттуда же: “с/под кустышка” (олонецк.); “...Из-под камышка явись да горносталюшком...” (олонецк.); “Мать сыра теперь да расступилась бы, / Показалась бы колода бело-дубова” (олонецк.); “С гор катитесь, ручьи вёшнии, / Вы розмойте пески желтии, / Поднимите гробову доску...” (олонецк.). Камень в подобных текстах часто представляет собой центр “того” света, к которому предстоит отправиться исполнителю заговора и на/под которым находится могущественный покровитель, исполняющий желания, зашивающий рану, отнимающий болезнь: “В чистом поле, в широком раздолье лежит бел камень Латырь. Под тем белым камнем лежит убогий Лазарь” (шенкурск.). Гора постоянно появляется в описаниях “того” света: “На том свете есть железная гора, на которой Бог, видимо, надо залезть на эту гору” (каропольск.).

Для этих пространств в одинаковой мере характерна отнесенность к иному миру, куда ссылаются болезнь и нечистая сила, куда попадают умершие. В заговорах это конечная точка пути, начинающегося выходом из дома как “своего” пространства и имеющего своей целью переход через *чисто поле, окиян море, лес* и т.п. к *камню, дереву, церкви*, где героя ждут представители потусторонних сил, высшие существа, к которым он стремится, чтобы просить или требовать исполнения своего желания: “... На Сионских горах, на синих морях, на желтых песках, на тридесять ключах лежит бел камень гладк. На том на престоле сама Мать Пресвятая Богородица опочивает...” (тульск.). Это типичная схема заговорного текста “в виде трехчленной структуры *выход из дома – движение по/к сакральному пространству – контакт с представителями иного мира*”, с каждой из частей которой соотнесен определенный набор элементов пространственного кода. Архаичнейшая идея посещения потустороннего мира и возвращения оттуда в более высоком статусе” (С.Г. Шиндин).

Итак, мы видим, что пожелание ребенку смерти, картина его похорон и похищение его зооморфным персонажем совпадают в части описания мест назначения – “мертвый” ребенок отправляется на “тот” свет так же, как и “похищенный”. Но в одном случае тот, кто убавкивает, сам посылает его туда, а в другом – всячески оберегает от пересечения границ своего пространства и даже приближения к ним (не ложись на бочок), не отдает ребенка пришедшему за ним персонажу-представителю иного мира: «О бай-бай, о бай-бай, / Идет дедко Бадай. / Уж как дедко Бадай / Кричит: “Ваню подай!”/Я Бадаю на ответ: /”Мово Вани дома нет”». В чем же дело? Видимо, это удаление из защищенного, освоенного пространства имеет различный смысл. Рассмотрим эту ситуацию с точки зрения целей исполнителя колыбельной. Он укладывает

ребенка спать, его задача – усыпить, погрузить младенца в сон. С точки зрения традиционного сознания «сон равносильен смерти. Как смерть, по народным представлениям, не является концом жизни, а лишь переходом ее в другое состояние, так и сон есть временный переход в другое состояние, в “параллельную жизнь”, ... сон – посещение “того” света, (...) сон – это открытие границы между тем и этим светом» (Н.И. Толстой). В причитаниях умершего просят проснуться – вернуться к жизни, называя смерть сном, а возвращение к жизни пробуждением: «обрядяца, тут уж подходят к покойнику, так вот и начинаешь там:

Что ты спишь да высыпаешься
В крепкий сон да задаваешься
Ты вставай, сугрева тёплая
Все большухи обрядилися,
Малы детки пробудилися
У твоей да милой матери
Пироги-то напечённые,
Всяки вина накуплённые.
Начинаешь будить: “Вставай”» (каргопольск.).

Рассказывая об обмираниях, о сне говорят как о посещении “того” света. Во сне возможен контакт, встреча с обитателями иного мира – умершими родственниками и т.д.

Теперь рассмотрим в колыбельных песнях мотивы *пробуждения* ребенка, выхода его из состояния сна. С ними почти всегда оказываются связаны мотивы *роста* и *взросления*.

Ох и спи-ко по ночам,
Да вставай-ко по зарям,
Да расти-ко по цасам, (...)
А повырастешь побольше, (2 р.)
В лес по ягодки пойдешь, (2 р.)
Да никому ты не даешь (каргопольск.).

Будет пора,
Да разбудим тебя.
Спи, спи, усни,
Будешь большой,
Будешь рыбку ловить,
Тетерку ловить,
Будешь лес рубить,
Татку, мамку кормить (пинежск.).

Очевидно, что представляемое будущее ребенка принципиально отличается от картины его детства. Места, бывшие в детстве для него опасными, перестают таковыми быть. Ребенку больше не запре-

щают ходить в лес, на улицу, на море и т.д. Напротив, его туда посылают:

Наша Танюшка уснет,
 Во сне вырастет,
 Баю-баю-баю-бай.
 Скоро вырастет большая,
 Да на улушку пойдешь,
 Станешь с ребятами играть (вологодск.).
 Спи-поспи и упокой держи,
 Скорей вырасти.
 Вырастешь большой –
 Станешь под окошком секарек,
 На полоске пахарек,
 В темном лесе лесничок,
 Станешь птичку ловит
 И родителей кормить... (олонецк.)

Эти мотивы часто продолжают мотивы пробуждения даже без мотивов роста ребенка. Проснувшегося ребенку уже не опасны *край, конец, лес, поле* и т.д.:

Спи здорово,
 Вставай весело.
 О-о-о, дитятко!
 Побегай на село
 В тот конец (вологодск.)
 Пастушок пойдет, затрубит,
 Мы Денисоньку разбудим,
 Люли-люли-люли-лю.
 На работушку пошлём
 Да в руки косоньку даём,
 Баю-баю-баю-бай (каргопольск.).

Итак, пробуждение ребенка равнозначно его взрослению и приобретению им статуса взрослого человека. Получение этого статуса видится через сон, который понимается как временная смерть. Становится понятным смысл пожелания ребенку смерти и помещения его в сакральное пространство, “иной” мир. Только через умирание и последующее рождение обретается новый статус человека, переход его в принципиально иное качество. Для ребенка таким умиранием и возрождением будут засыпание и пробуждение.

И совсем по-другому видится путешествие младенца в потусторонний мир. Оно нежелательно, от него пытаются ребенка защитить, что вполне отражает представления о маргинальном положении ребенка – он уже находится в мире людей, но еще остается связан с “тем” миром, откуда он пришел. Равновесие, необходимое для нормального сосуще-

ствования миров, нарушенное ситуацией родов, для него не восстановлено, и существует опасность нежелательного, не регламентированного человеком воздействия на него со стороны “того” света. Поэтому любое удаление для ребенка из “своего” пространства оказывается опасным. Колыбельные песни в мотивах похищения ребенка зооморфным персонажем и его похорон используют ту же модель путешествия на тот свет, к центру мира, на встречу с божеством, исполняющим желания и просьбы, берущим под свою защиту, что и в заговорах. Но в колыбельных песнях эта схема видоизменена: вместо части возвращения здесь присутствуют мотивы пробуждения, осмысляемые как взросление и обретение ребенком нового статуса.





“Авось, о Шиболет народный...”

Е.А. ПОПОВА,

кандидат филологических наук

Характерную черту русского мировосприятия передает частица *авось*. Это слово стало своеобразным языковым мифом, который привлекает внимание писателей, философов, публицистов начиная с XVIII века. В последние годы о нем много пишут лингвисты (см. также: Русская речь. 1976. № 3. 1983. № 4).

С максимальной степенью полноты семантическая структура слова *авось* представлена в 20-томном “Словаре современного русского литературного языка”: “**Авось, частица.** Разг. 1. Может быть, возможно (о том, что желательно для говорящего, на что он надеется)... Устар. Авось – либо... Авось – небось; авось да небось; авось, небось (да как-нибудь)... 2. В знач. суц. Авось, -я. м. О безосновательных надеждах, о действиях наудачу. *От авось добра не жди.* Погов... Надеяться, полагаться и т.п. на (какой-л.) авось. Надеяться на случайную удачу, успех в чём-л. ... *На авось* (делать что-л.). Необдуманно, в надежде на случайную удачу...” (М., 1991. Т. 1).

Дополняет картину “Толковый словарь живого великорусского языка” В.И. Даля: “**Авось нар.** (...) может быть, станется, сбудется, с выражением желания или надежды” (М., 1989. Т. I).

В соответствии с гнездовым принципом расположения слов В.И. Даль поместил в эту словарную статью производные от слова *авось*: “*Авоська* м. будущий желанный случай, счастье, удача; отвага; || кто делает все на-авось. *Авосьный случай*, пришедший на-авось. *Авоськать, авосьничать*, пускаться на авось, на удачу, на безрассудную отвагу, беззаботно надеяться (...) *Авоськать, васькать*, обычно приговаривать почасту авось. *Авосьник м.-ница* ж. кто авоськает, авосьничает”.

В современном русском языке эти производные малоупотребительны, за исключением слова *авоська*, которое приобрело другое значение: “плетеная или вязаная сумочка (сетка) под продукты питания или иные нетяжелые предметы, которую берут с собой на всякий случай, на авось” (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1994. Т. I). П.Я. Черных считал, что это значение у слова появилось во время гражданской войны и продовольственных затруднений.

Слово *авось* переводится на другие языки с помощью синонимов “может быть, возможно” (ср.: укр. *мóже, а мóже, ачéй*; болг. *мóже би, данó*; белорус. *анú ж, а мóже*; сербохорв. *мóжда*; нем. *vielleicht*, на авось – *aufs Geratewohl, auf gut Glück*). Однако перевод неадекватен, так как передает только общий смысл слова. Информация, заключенная во всех ключевых концептах, “и для русского не без затруднений переводится в рационально-логический план, что же касается ее перевода на другие языки, то такой перевод в собственном смысле слова едва ли возможен. Вопрос о переводимости при этом, скорее, сводится к вопросу о смысловой компенсации” (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Внешняя форма слова и его национально-культурная семантика // Русский язык: Языковые значения в функциональном и эстетическом аспектах. Виноградовские чтения XIV–XV. М., 1987).

Все члены синонимической группы *может быть (может быть, возможно, может статься, может, авось)*, кроме *авось*, выражают гипотезы как относительно прошлого и настоящего, так и относительно будущего. *Авось* же – последний член этой синонимической группы слов – всегда устремлено в будущее и связано с надеждой на благоприятный исход дела. Из этого вытекает такая характерная грамматическая черта слова *авось*, как употребление его в одном контексте с глаголами будущего времени. Широкий спектр таких примеров представлен в произведениях Пушкина:

Говорит она своему господину:
 “Слышь ли, господин ты мой, Павел,
 Сведи меня к золовкиной церкви,
 У той церкви *авось исцелюся*”

Песни западных славян. Песнь 14

(Здесь и далее курсив наш. – Е.П.);

“Не смейся, брат, над сединами,
 Не мучь его... *авось* мольбами
 Смягчит за нас он божий гнев!...”

Братья разбойники;

“Лучше здесь остановиться да переждать, *авось* буран *утихнет* да небо *прояснится*; тогда найдем дорогу по звездам” (Капитанская дочка);

“И, пустое! – сказала комендантша. – Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская не надежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: *авось* и от Пугачёва *отсидимся!*” (Там же); “*Авось*, – думал смотритель, – *приведу я домой заблудшую овечку мою*” (Станционный смотритель);

Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: *пойдет авось*;
Куда! и снова дело врозь.

Евгений Онегин;

“Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих, *авось* полуденный воздух *оживит* мою душу” (Пушкин – П.А. Вяземскому, 1820 г.); “Читая твои критические сочинения и письма, я и сам собрался с мыслями и думаю на днях написать кое-что о нашей бедной словесности, о влиянии Ломоносова, Карамзина, Дмитриева и Жуковского. *Авось* и *тисну...*” (Пушкин – П.А. Вяземскому, 1824 г.); “С женою отошлю тебе 1-ую песнь Онегина. *Авось* с переменой министерства она и *напечатается...*” (Пушкин – П.А. Вяземскому, 1824 г.); “Попытаюсь толкнуть ко вратам цензуры с первою главой или песнью Онегина. *Авось пролезем*” (Пушкин – Л.С. Пушкину, 1824 г.); “В самом деле не пойти ли мне в юродивые, *авось буду блаженнее!*” (Пушкин – П.А. Вяземскому, 1825 г.); “Губернатор обещался отнестись, что лечиться во Пскове мне невозможно – итак погодим, *авось ли* царь что-нибудь *решит* в мою пользу” (Пушкин – В.А. Жуковскому, 1825 г.); “Я все жду от человеколюбивого сердца императора, *авось-либо позволит* он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства” (Пушкин – В.А. Жуковскому, 1825 г.).

В десятой главе “Евгения Онегина”, которая, по мнению пушкинистов, по сей день является “самым загадочным и труднодостижимым творением поэта” (Филин М. О десятой главе “Евгения Онегина” (Заметки дилетанта) // Русская речь. 1996. № 5), Пушкин характеризует слово *авось* как национальный пароль:

Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил...

Ю.М. Лотман считал первую строку отрывка реминисценцией из “Дон-Жуана” Байрона (XI песня, строфа 12, стих 2):

Жуан английских слов не понимал,
Точнее – понимал весьма немного;
Вначале он приветствием считал
Ругательство с упоминанием бога.
Не улыбайтесь – он не совершал
Большой ошибки, рассуждая строго;
Я слышал эту фразу, как привет,
От многих соплеменников в ответ.

(Перевод Т.Г. Гнедич)

«Juan, who did not understand a word of English, Save their shibboleth “god damn!” (Жуан знал лишь одно английское слово – *шибболет* god damn!).

Междометие “god damn” (черт побери) как восклицание, характеризующее англичанина, Пушкин заменил на “авось»» (Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Л., 1980).

Лингвистическое понятие *шибболета*, на который обращает внимание Пушкин, восходит к библейскому повествованию о междоусобице между древнеизраильскими племенами галаадитян и ефремлян (Ветхий Завет. Книга Судей. 12,5–6). Галаадитяне рассеяли противников и захватили переправу через реку Иордан. Ефремляне подходили к переправе под видом членов других колен еврейского народа, и отличить их можно было только по языковому (диалектному) признаку. Галаадитяне требовали от каждого желающего переправиться: “Скажи шибболет”, что значит “колос” (по-другому толкованию “поток”). Все, за исключением ефремлян, повторяли слово. Ефремляне же, в речи которых отсутствовали шипящие согласные, говорили “сйбболет” и тотчас были умерщвляемы. Так за один день было перебито 40 тысяч ефремлян. От этого библейского сюжета берет начало употребление слова *шибболет* (*шиболет*) в качестве такого диалектного произносительного признака, который выдает носителя того или иного языка. Употребление слова *шибболет* именно в таком значении присуще почти всем современным европейским языкам. “Словарь языка Пушкина” свидетельствует, что поэт употребил это слово всего один раз, в десятой главе “Евгения Онегина”, в значении: “о том, что является типичной особенностью, характерным признаком кого-нибудь” (Словарь языка Пушкина: В 4 т. М., 1961. Т. 4).

Соответственно “в лингвистике под шибболетом понимается некоторая черта, характеристика устной речи или письменного текста, на основе которой возможны суждения не о содержании произнесенного или написанного, а о самом говорящем или пишущем (о его происхождении, профессии, возрасте, поле, о его душевном состоянии и т.д., а также времени и обстоятельстве протекания акта коммуникации)” (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Указ. соч.). Пушкин, называя *авось*

“шиболетом народным”, считал, что это понятие является носителем значащей информации о русском народе.

Словом *авось* начинается седьмой отрывок из десятой главы “Евгения Онегина”:

*Авось, аренды забывая,
Ханжа запретя в монастырь,
Авось по манью Николая
Семействам возвратит Сибирь
.
Авось дороги нам исправят
.*

Как свидетельствует “Словарь языка Пушкина”, число словоупотреблений *авось* в различных произведениях поэта (прозаических, поэтических, эпистолярных) равно 47.

В “Сказке о попе и о работнике его Балде” Пушкин снабдил этот “народный шиболет” характерным эпитетом, сочетаемость с которым делает понятие ключевым для русской культуры и языка:

*Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.*

Согласование с прилагательным говорит о том, что произошел переход частицы в существительное. В.М. Мокиенко считает, что причиной этого перехода слова *авось* стала форма на *-сь*, располагающая к аналогии (ср. *лось, ось, лосось, морось* и т.п. Мокиенко В.М. От Авося до Ятя: Почему так говорят? Справочник по русской идиоматике. СПб., 1998). А закрепление мужского рода, по мнению Я.И. Гина, “объясняется в данном случае фактом этнолингвистическим и лингво-поэтическим” (Гин Я.И. Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб., 1996). Народный образ слова *авось* позволяет провести параллель с “русским богом, о котором идет речь в третьем отрывке из десятой главы “Евгения Онегина”:

*Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
.*

Выражение *русский бог*, по одной версии, “восходит – к библейским формулам о всемогущем Саваофе, спасающем избранный народ; постепенно в сознании верующего человека они оказались перенесенными на русский народ” (Рейсер С.А. Русский бог // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1961. Т. XX. Вып. 1), а по другой, имеет более позднее происхождение: приписывается легендой Мамаю после поражения на Куликовом поле (Лотман Ю.М. Указ. соч.). Во времена Пушкина идиома *русский бог*,

вошедшая в официальный лексикон и ставшая штампом в 1812 году, вызывала уже отрицательную оценку. В этом отношении итоговым следует считать сатирическое стихотворение П.А. Вяземского “Русский бог“ (1828):

Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций – тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.

Бог грудей и (...) отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог.

Бог наливок, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бог в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.

К глупым полн он благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог.

Бог всего, что из границы,
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он русский бог.

Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.

Связь *авось* и русского бога отражена в пословицах: *Русский Бог – авось, небось да как-нибудь; Авось Бог поможет; Авось не бог, а полбога есть* (примеры из Словаря В.И. Даля).

В произведениях Пушкина тоже можно найти примеры, в которых *авось* и *Бог (Господь)* встречались бы в одном контексте: – И, матушка! – отвечал Иван Игнатьич, – *Бог* милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. *Авось* дадим отпор Пугачеву. *Господь* не выдаст, свинья не съест!” (Капитанская дочка); “Вот и послала ему (сыну) 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь верст, *авось Бог* пронесет” (Дубровский); “Прочел с большим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить, она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. *Авось Бог* вынесет. *С Богом!*” (Пушкин – Н.В. Гоголю, 1834 г.).

Показательно, что в текстовых фрагментах, имитирующих разговорную речь, и в письме *авось* и *Бог* сближены в пословице.

Итак, наблюдения над словом *авось* в речи Пушкина как языковой личности и других писателей помогают выяснить место этого лингвистического “шибболета” в русской языковой картине мира. *Авось*, отражающее многие свойства национального характера и мировосприятия является одним из “ключей” к тайне русской души, получающей в последнее время лингвистическую интерпретацию.

Липецк

ТЫСЯЧА ЛЕТ РУССКОЙ ИСТОРИИ В ПРЕДАНИЯХ, ЛЕГЕНДАХ, ПЕСНЯХ

Эта антология русского повествовательного фольклора уникальна. Впервые произведения песенных и прозаических жанров, содержащие народную интерпретацию важнейших исторических событий и народное восприятие деятелей русской истории, собраны под одной обложкой. Впервые представлено фольклорное отображение истории России за тысячу с лишним лет: с 862-го по 1881 год. Впервые научно-популярный сборник фольклорных текстов объединил произведения, которые ещё недавно не включались в такого рода издания по “идейно-политическим” соображениям. Среди них: простонародные песенные отклики на убийство Александра II, старообрядческая легендарная трактовка фигуры Петра I, народные произведения, осуждавшие Степана Разина, песенные прославления первых русских святых – князей Бориса и Глеба, и целый ряд других, без которых картина русской истории в её народном восприятии рисовалась неполно и односторонне.

Более сотни разнообразных первоисточников, использованных составителем сборника доктором филологических наук С.Н. Азбелевым, требовали внимательного и бережного отношения к передаче языка фольклорных текстов, письменная фиксация которых существенно различалась не только по хронологии – от XI до XX веков – но и по задачам, какие ставили перед собой записывающие этот разнообразный устный материал. В комментарии составителя об этом говорится так: «Разные собиратели передавали особенности народной речи с разной степенью точности – от фонетических записей диалектологов до пересказов некоторых прозаических произведений самими публикаторами их. Чтобы не затруднять читателя и не вносить слишком большого разнобоя в печатаемые здесь тексты, в них устранена фонетическая транскрипция, написания слов приближены к современным орфографическим, однако без того, чтобы изменился ритм текста или стилистический облик его. Сняты местные особенности фонетики, которые представляют лингвистический интерес, но затрудняют чтение и художественное восприятие (например, случаи употребления “ц” вместо “ч” и “ч” вместо “ц”), но без замен диалектных слов, без унификации диалектных форм в разных по времени и месту записях, без того, чтобы исчез колорит народного языка той или иной местности, без подгонки простонародной или несколько архаичной речи под современный литературный язык. Но малопонятные современному читателю древнерусские прозаические тексты даются в переводе на современный язык – с

дополнительными отсылками к древнерусским оригиналам” (Тысяча лет русской истории в преданиях, легендах, песнях / Сост., вступ. ст., коммент. С.Н. Азбелева. М., 1999. С. 406–407; далее – только стр.).

Имеются в виду оригиналы, вошедшие в “Повесть временных лет”. Много занимавшийся исследованием летописей С.Н. Азбелев далее пишет: “Предания, использованные летописцами, в большинстве своём были переработаны при составлении и дальнейших переделках летописей. Но некоторые сохранились в форме, близкой, очевидно, к тому, что слышали от своих современников составители летописей. Такие тексты и приведены в нашем сборнике...” (414). Существовало, что взяты они именно по “Повести временных лет”, но “некоторые – по использованному в ней летописному своду конца XI в.”, что «всякий раз оговаривается с отсылками к знаменитому исследованию академика А.А. Шахматова, где выделены тексты этого свода в составе “Повести”. Пользуясь ссылками на эту книгу, даваемыми всюду, – поясняет составитель, – можно при желании прочесть все тексты, взятые из “Повести”, в древнерусском подлиннике, какими их прочитал крупнейший знаток русских летописей в средневековых рукописях» (415). Речь идёт о А.А. Шахматове и его известном критическом издании “Повести временных лет”, первый том которого вышел в 1916 году.

Но фольклорные отображения начальных периодов истории Руси – это не только предания, занесённые в раннюю летопись. Некоторые из них оказались записаны в устном бытовании собирателями XIX века. Таковы помещённые в антологии повествования о княгине Ольге, о свержении идола Перуна в Новгороде, баллада о князьях Борисе и Глебе, а также некоторые былины, содержание которых относится ещё к правлению князя Владимира Святого. Последующая эпоха – вплоть до Батыева нашествия, – представлена, как известно, в нескольких былинах. Восемь наиболее значительных напечатаны в разделе “Русь при наследниках Владимира Святого”.

Рассмотреть в короткой рецензии все двадцать шесть разделов антологии, конечно, невозможно: в ней помещены 233 произведения. Вступительная статья даёт компактное обозрение этого материала, но не ограничивается его характеристикой. Её автор раскрывает перед читателями “механизм” фольклоризации исторических фактов в песенном и в прозаическом эпосе; прослеживает на конкретных примерах, как рассказ очевидца, постепенно передаваясь из уст в уста, становится историческим преданием, а дававшая первичное отображение факта “хроникальная” песня эволюционирует в историческую балладу. В статье характеризуется и история основных жанров русского исторического фольклора, включая такие почти исчезнувшие из живого репертуара, как песни-славы, песни-оплакивания и песни хулительные, распространение которых “относилось к весьма отдалённой поре, когда

песенному поношению врага приписывалась магическая сила...» (9). К исчезнувшим жанрам принадлежат героические сказания: это “нечто среднее между эмоционально приподнятой повестью и хвалебной песней”; они характеризуются в статье “на примере цикла их, посвящённого Куликовской битве” (12). Но читатель может получить достаточно ясное представление о материалах подобного рода, так как образцы всех исчезнувших жанров в антологии напечатаны.

В статье обращено внимание на важную роль исторического фольклора: “Поведение исторических деятелей во многом определялось тем, что было им известно о деяниях предков при аналогичных обстоятельствах. Триада: история – фольклор – история – способствовала формированию поведенческих стереотипов; а следствие их – стереотипы устно-поэтические. Этим, – поясняет автор статьи, – во многом объясняется и традиционность сюжетов в былинах – эпических повествованиях, за которыми стоит наиболее внушительный по хронологической протяжённости массив однотипных исторических ситуаций и поступков” (14). С этим связана специфика фольклорной типизации, в основе которой многократное использование предшествовавших произведений об аналогичных фактах, порождавшее формирование устойчивых описаний и словесных формул.

И сам корпус текстов, напечатанных в антологии, и комментарии к ним, и вступительная статья отразили не только традиционные научные представления, но и результаты недавних исследований, которые в ряде случаев существенно уточнили прежние трактовки. Но при этом получили новые подтверждения выявленные прежде закономерности фольклорного процесса. К наиболее интересным результатам относится цикл исторических песен и исторических преданий, в которых фигурирует царь Иван Грозный. Давно было выявлено, что князь Владимир русского эпоса – это образ, восходящий по преимуществу к двум историческим прототипам, правившим в Киеве – Владимиру Святому и его правнуку Владимиру Мономаху. Сходным образом дело обстоит и с некоторыми другими былинными персонажами. Но долгое время считалось, что центральный персонаж исторического фольклора и грозный царь Иван Васильевич восходит к единственному прототипу – царю Ивану Четвёртому.

Однако в истории России было два царя с таким именем и отчеством, причём прозвание “Грозный” было присвоено современниками царю Ивану Третьему, как подчёркивал ещё Н.М. Карамзин, “более в хвалу, нежели в укоризну”, и лишь позднее прикрепилось к имени его внука – “по тёмным слухам о жестокости” Ивана Четвёртого. Приводя эти и другие свидетельства Н.М. Карамзина и С.М. Соловьёва о том, что Ивану III “первому дали в России имя Грозного, но в похвальном смысле: грозного для врагов и строптивых ослушников”, С.Н. Азбелев пишет, что “фольклорные произведения, где речь идёт о “Грозном ца-

ре Иване Васильевиче”, могут в принципе подразумевать как Ивана III, так и Ивана IV” (16). Проведённое автором статьи исследование, результаты которого напечатаны в академическом ежегоднике “Русский фольклор” (СПб., 1996. Т. 29. С. 60–79), позволило утверждать, что некоторые исторические песни об этом персонаже отобразили реальные факты, бывшие в правление Ивана III и не имевшие аналогов при Иване IV. Эти песни напечатаны в антологии под номерами 58, 59 и 64.

С несколько меньшей определённой к правлению Ивана Третьего могут быть отнесены и несколько других произведений, помещённые в разделе “Государь и самодержец всея Руси”, – вследствие явно выраженной в них “симпатии к царю Ивану Васильевичу, симпатии, не омрачённой ещё воспоминаниями о диких жестокостях Ивана IV” (17). Конкретные обоснования этих приурочений находим в исторических комментариях, основанных на упомянутой работе автора.

Комментарии даны ко всем текстам антологии. Помимо отсылок к источникам публикации в них приводятся исторические пояснения – “наиболее подробно в тех случаях, когда представляет особый интерес сопоставление народной интерпретации факта с его отображением в документальных исторических свидетельствах” (407). Эти пояснения часто требовали значительных разысканий, порой – в малоизвестных источниках.

Читатель обнаружит также полезные справки источниковедческого характера, в которых говорится об особенностях передачи некоторых текстов, даны пояснения имён, ряда понятий и терминов. Но в основном такие пояснения содержит заключающий антологию словарь, за пределами которого – только слишком индивидуальные случаи, оговорённые непосредственно в комментариях. Было бы излишним поместить в сборнике указатель личных имён и географических названий, но в изданиях подобного рода это, к сожалению, ещё не стало традицией.

Русская фольклористика пополнилась книгой, которая по составу полнее предшествовавших, содержит немало нового, удачно сочетает академичность и популярность, бережно передаёт язык фольклорных текстов.

Ю.К. Бегунов,
доктор филологических наук
Санкт-Петербург

В.В. КОЛЕСОВ. “Жизнь происходит от слова...”

Многомерность ощущения “лингвистического времени” – характерная примета наших дней. Все чаще и чаще появляются книги, в основу которых положено не “орудийное” осмысление языка, а временное, историческое, духовное. И в этом отношении работа В.В. Колесова, выпущенная издательством “Златоуст” (СПб., 1999), весьма симптоматична. Ее автор приоткрывает иные горизонты “цивилизационного пространства”, а история литературного языка рассматривается им в русле традиционной русской духовности и культуры. К слову сказать, серия “Язык и время”, в которой издана книга, заполняет почти пустующую лакуну той философски-филологической грани бытия, что издавна присутствовала в характере и быте русского человека, с его особым мироощущением, ценностями, богатым, подчас неподдающимся строгому анализу, внутренним миром и своей “философией жизни”. Следует отметить, что это вторая книга в данной серии (первая вышла в свет несколькими месяцами ранее и хорошо известна читателям – это монография В.Г. Костомарова “Языковой вкус эпохи”). Судя по замыслу издательства, эта серия и в дальнейшем намерена пополняться “размышлениями” (как кажется, наиболее удачный жанр научной полемики) о русском языке и культуре на пороге нового тысячелетия ведущих специалистов – русистов, культурологов и известных педагогов – преподавателей высшей школы. Так, готовятся к изданию работы С.Г. Тер-Минасовой, Ю.Н. Караулова, А.М. Панченко.

Книга же В.В. Колесова для нас существенна еще и потому, что ее автор – крупный ученый, знаток русской и славянской акцентологии, историк русского языка – обратился к другой стороне “филологического мироздания”, выраженной им в четырех тезисах, составляющих одноименные разделы книги: Язык – Ментальность – Культура – Ситуация. Характерно и высказывание М. Пришвина, помещенное автором в заглавие своей книги. Оно как бы напоминает нашим современникам, что в основе всех форм творческой жизнедеятельности человека лежат не опустошенные и безликие слова, а содержательные, мудрое, звучащее Слово, которое невозможно воспринять и осмыслить только в одном поуровневом пространстве. У него есть еще иная, особая ипостась – Логос, обеспечивающая непрерывное созидание и воспроизведение мысли, предохраняющая ее от воздействия чужеродных влияний и ультрамодных наслоений, сохраняя таким образом “лингвобаланс” в

системе нашей культуры. И здесь как раз *временное* – едва ли не единственный критерий.

Во вступительной части В.В. Колесов об этом пишет так: «Человечество в своем развитии долго было озабочено материальным интересом, и время для него стало средством накопления известной суммы “добра” – вещей. Так возникла цивилизация. Затем, озаботясь проблемой истинности, человечество много размышляло над тем, что оно в конце концов сотворяло, и это стало способом собирания мысли. Так создавалась культура. Сегодня мы увидели, что кроме вещей и идей есть еще и слово, язык, в который вмещается все: и идеи, и вещи. Наступило время языка – в философии, в культуре, в ментальности» (с. 3).

Представляя свои “тезисы о русском языке”, В.В. Колесов полагает, что «в каждой развитой и богатой культурной среде существуют в неслиянном единстве как бы сразу “три языка”:

– русский язык как система – категория этническая, следовательно, представленная психологически;

– русский литературный язык как норма – категория социальная, представленная логически;

– язык русской литературы как стиль – категория культурная по преимуществу, а потому оправданно эстетическая» (с. 7). Каждый из них ориентирован на “разные содержательные формы словесного знака”, который не является статичным и изменяется “в зависимости от культурных переживаний использующего его народа” (с. 8).

С течением времени происходит трансформация не только языкового фонда, но и всей социокультурной системы, в которой бытует слово. Заданность развития языка, предопределенная его древними формами, на современном этапе сменилась новыми установками, “образцовыми” текстами, которые подчас не имеют ничего общего с языковой и культурной традицией народа, а потому разрушительно влияют на языковое сознание. Эта, в известной мере, прерванность в “языковом течении” вызвала и основной парадокс русского языка конца XX века. По мнению В.В. Колесова, он заключается в том, “что завершили свое развитие основные тенденции, заданные еще старорусским языком эпохи позднего Средневековья” (с. 9). Из них наиболее существенными, по мысли автора книги, являются такие:

1) завершенность формирования языковых парадигм;

2) предельная степень развития категориальных компонентов языка;

3) наивысшее развитие получили содержательные формы слова;

4) “обозначилось четкое противостояние между системой и нормой”, между текстом и языком (с. 9–10) и др.

Иначе говоря, системность языковой структуры “оказалась наивысшей за всю историю русского языка” (с. 9). Все эти факторы, а также

определенные затруднения, которые испытывает лингвистика на современном этапе в своем продвижении в глубь предмета исследования языка, свидетельствуют о том, что нет четкой программы восприятия действительности средствами языка, все по-прежнему зиждется на старых, утвердившихся критериях оценки и постулатах. В связи с этим В.В. Колесов справедливо замечает: "...следует определить смысл происходящих в языке изменений, чтобы составить эквивалентную реальности и объективную программу дальнейших исследований. В этом долг языковеда перед будущим" (с. 11).

Для определения стратегии важно уяснение такого центрального положения, как *функция и норма в литературном языке*. Здесь вновь возникает противостояние между различными школами, каждая из которых в поисках "главенства" трактует литературный язык по-своему. В.В. Колесов хорошо это понимает и отстаивает, на наш взгляд, наиболее приемлемую линию, подкрепленную живой традицией многовекового развития языка. «Теоретическое языкознание, – полагает он, – создает свои мифы на логических основаниях и потому совершает логические ошибки. Проблема "литературного языка", несомненно, историческая проблема, поскольку и категория "литературный язык" – конкретная историческая категория. Литературного языка, – пишет далее В.В. Колесов, – как такового когда-то (и притом сравнительно недавно) не было – и литературного языка в скором времени также не будет, поскольку в принципе не станет других форм коллективного общения на родном языке. Это ли не доказательство его исторической предельности?» (с. 18).

Интересные размышления содержатся в кратком историческом обзоре тенденций литературного языка в прошлые века. Так, в средне-русский период, – считает ученый, – в разное время вариативность личных языковых средств определялась зависимостью от ж а н р а, с XVIII века – зависимостью от с т и л я, в наше время она определяется зависимостью от ф у н к ц и и" (с. 22). Вывод, к которому приходит В.В. Колесов в этой части, подтверждает иерархичность и последовательность развития и смены содержательно-ориентированных показателей языка. Он пишет: «...литературный язык – функция национального языка, и его совершенствование определяется развитием нации. Функция же на каждом историческом отрезке развития литературного языка определяется нормой, т.е. "нормальным", в нашем случае – общерусским в проявлениях языковой структуры на данном отрезке его развития. Норма как динамический процесс есть выбор инварианта из многих вариантов, выработанных системой в ее развитии...» (с. 24). Весьма существенным признаком является *объективное*, социально и культурно значимое определение состояния литературного языка и критериев установления самой нормы. В.В. Колесов обоснованно полагает, что "нормативность литературного языка не бесконечна, но

она всегда определяется объективной установкой *системы* (курсив наш. – О.Н.) и правилом выбора среднего стиля, который всегда и есть норма; личный вкус и симпатии нормализатора здесь не имеют цены” (с. 25).

Весьма интересны и другие главы первого раздела книги: “Социоллингвистические аспекты изменения современного русского языка”, “Устная речь на письме”, “Слово и Дело Александра Пушкина”.

Вторая часть – “Ментальность” – обращает на себя внимание прежде всего постановкой проблемы русской ментальности и уточнением той “неразберихи”, которая творится уже несколько лет не только в обиходе и публицистике, но даже и на страницах научных изданий, где очень вольно и некорректно трактуют это понятие. В.В. Колесов его определяет так: “Ментальность есть мирозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях” (с. 81).

Далее автор поясняет: “Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть представлены в традиционных символах данной культуры” (там же). В.В. Колесов приводит любопытный пример искаженного понимания модных слов и пропаганды стоящих за ними понятий: «Например, московский мэр Лужков (1998) говорит о “российской национальной идее”, что сразу же свидетельствует об эклектизме всех его суждений, связанных с темой. Идеи, – продолжает далее В.В. Колесов, – могут быть “русскими” (о “русской идее” говорил уже Достоевский), но не существует “российской идеи”, как нет и “российской нации” или “российского языка”...» (с. 82). По мнению ученого, “ошибочным было бы сводить ментальность только к совокупности устойчивых символов данной культуры. Словесный знак скрывает в себе самые различные оттенки выражения мысли (в значении *mens, mentis*), и не только символы, но также образы, понятия, мифы и пр.” (с. 81).

Размышления В.В. Колесова в какой-то мере созвучны разработкам Д.С. Лихачева, Н.И. Толстого, Ю.С. Степанова в области выделения “единицы ментальности” – *концепта культуры*. Однако в его суждениях есть и полемические тезисы, вызванные собственным пониманием “предмета – действия – признака” эпохи, в ментальности которой уживаются когда-то преданные забвению христианские истины (а для русской ментальности они особенно значимы и проявляются как раз в слове).

“Тезисами о русской культуре” открывается третья часть книги, имеющая подзаголовок “Культура”. В.В. Колесов полагает, что “культура триединая как традиция, как система ценностей и как модели поведения” (с. 180). Она противопоставлена цивилизации «по признакам

“внутреннее – внешнее”, “религиозно-духовное – материальное”, “логос – рацио”, “символизм – прагматизм”, “индивидуальное – социальное”... и т.д.» (с. 181). Естественно, что язык нельзя рассматривать вне рамок национальной культуры. “В оценке любого языка, – пишет В.В. Колесов, – следует принимать во внимание и социальную значимость словесного знака, и его нормативный ранг, и даже его роль как факта и фактора культуры” (с. 182).

Мы обратили внимание и на главу “Язык и культура современной интеллигенции”. И здесь автор пытается разобраться в причинах духовной деградации, казалось бы, самого “культурного” класса. «Исчезает иерархия ценностей, – пишет В.В. Колесов, – на которых крепится культура. Потому что уплощение (так у В.В. Колесова. – *О.Н.*) всех и всего до уровня “понятия” ведет к разрушению смысла – происходит то, что физики называют тепловой смертью. Культура перегрелась» (с. 208). “Собирая” и оценивая признаки современной интеллигенции, В.В. Колесов приходит к выводу, что в ее составе не осталось “ни одного интеллигента, способного соответствовать высоким критериям уже давно сложившегося идеала хорошего человека – *доброта человека русских летописей*. Но странное дело: интеллигентов нет – интеллигенция, понятая как идея, остается” (с. 210). *Язык – культура – интеллигенция*, по мнению ученого, – соотносительные, тесно связанные друг с другом явления.

«Язык, – заключает В.В. Колесов, – единственная сила, которая еще осталась у нас как возможность развития культуры. Не “государственный” и даже не “литературный” (в других странах он откровенно называется стандартным языком), а – русский язык как система концептуальных ценностей, накопленных предками. Это та интеллектуальная сила, которая собиралась ими в течение веков в зоне, как теперь говорят, ноосферы – общего мыслительного пространства, овеществляемого в категориях и формах родного языка» (с. 226).

Завершающая глава книги “Ситуация” решает проблемы этики научных исследований и преемственности традиций. Автор обсуждает теоретические проблемы прикладной русистики, говорит о дисциплинах исторического цикла в университетских курсах.

В заключение необходимо отметить образцовое, гармоничное оформление серии “Язык и время”, в которой вышла работа В.В. Колесова и, конечно же, просветительское назначение самой книги, имеющей не натянуто академический, а научно-популярный жанр, значит, ее автор, размышляя о языке, призывает и нас, читателей, остановиться, подумать о самой сокровенной национальной ценности – родном языке.

Об одной ошибке в словарях

И.Г. ДОБРОДОМОВ,

доктор филологических наук

Специфика составления словарей состоит в необходимости тщательной проработки описываемого текстового материала, иначе возникают ошибки, которые имеют тенденцию к самостоятельной жизни в виде, например, так называемых призрачных слов, гуляющих по некоторым изданиям-лексиконам.

В недавно появившемся своеобразном опыте путеводителя по редким и забытым словам, выбранным составителем преимущественно из других словарей и редко непосредственно из художественных текстов, находим странное слово в столь же странной обработке:

“Пристава

*Караульное помещение; взять за приставы – взять под стражу.

Александр Островский:

Б а с м а н о в

А буде кто лишь только заикнется

О вымысле нелепом Годунова

И патриарха, взять его скорее

За приставы, потом ко мне привестъ.

(*Дмитрий Самозванец*)”

(Самов В.П. Словарь редких и забытых слов. М., 1996. С. 413. На с. 703 указывается противоречащее стиховому размеру ударение: *приста́ва*).

Нет никакого сомнения, что эта словарная статья является сокращением соответствующего материала из уже во многом устаревшего 17-томного Словаря современного русского литературного языка (БАС), выпущенного почти сорок лет назад:

«ПРИСТАВА, *ы*, ж. *Устар.* Караульное помещение. ◇ Взять за п р и с т а́ в ы; сидеть, быть за п р и с т а́ в а м и. Взять под стражу; сидеть, быть под стражей. [Басманов:] *А буде кто лишь только заикнется О вымысле нелепом Годунова и Патриарха, взять его скорее За-приставы, потом ко мне привестъ.* А. Остр. Дм. Самозванец. I, 2. Члены думы, князь Голицын ... и Воротынский сидели “за приставами” – под домашним арестом, как люди, подозрительные для нового режима. Покров. Русск. ист.

– С иным удар: за-п р и́ с т а в ы (прим(ер) см. выше)». Пьеса А.Н. Островского “Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский” цитиру-

ется не по девятому изданию “Сочинений”, 1890 (т. V. С. 157), которое названо в списке литературных источников словаря в I томе (М.–Л., 1950. С. XXXIV, вместе с апокрифическим “Полным собранием сочинений”, т. I–X. М., 1890), а по нигде не числящемуся IV тому “Полного собрания сочинений” в 16-ти томах, 1949–1953 гг. (М., 1950. С. 276), где воспроизведена едва ли оправданная орфография первой публикации в “Вестнике Европы” (1867, второй год, т. I, март. С. 101).

Здесь неправильно почти все: и форма заглавного слова женского рода с ошибочным ударением на втором слоге (что противоречит ритмике стихов), и его толкование, и цитирование иллюстративных примеров, – причем академическое издание также опирается во втором примере на источник, который ни в основном, ни в дополнительном списках источников словаря (в томах 1, 2, 3, 7) не значится. Составитель правильно указал лишь на устарелый характер слова, но не обратил внимания на стилизационную функцию рассматриваемого слова: оно употреблено в качестве архаизма, придающего тексту древний колорит.

Составитель словарной статьи не учел, что в обоих контекстах странное слово *пристава* употреблено как название какой-то старинной реалии. Дело прояснилось бы при обращении к труду академика И.И. Срезневского “Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам” (т. II. Санкт-Петербург, 1895, стб. 1458–1459). Однако *пристава* здесь не зафиксировано, хотя есть многозначное слово *приставъ* “надсмотрщик”, “сторож”, “охранный”, “голец”, “начальник, правитель”, “должностное лицо, назначавшееся для призыва ответчика к суду”, “судебно-административная должность в древней Руси”. Менее внятное толкование термин *пристав* получает в “Материалах для терминологического словаря Древней России” Г.Е. Кочина (М.–Л., 1937. С. 281–282): “должностное лицо, чаще из судебной администрации”. Но зато в этом словаре подана сочетаемость термина с определениями: *пристав большой, волчий, королевый, митрополичь, наместничий, царевичев*.

В пояснительном словаре к пьесам А.Н. Островского при неточном цитировании пьесы форма рассматриваемого слова определена правильно, но семантика дана неточно,

“**Пристав** – в Московском государстве чиновник по судным делам. В з я т ь з а п р и с т а в ы – арестовать. *Десятские и сотские (...)* блюдите, чтоб пустошных речей не говорили. А (...) кто лишь только закнется о вымысле нелепом Годунова и патриарха, взять его скорее за приставы, потом ко мне привести (Дмитрий Самозванец, ч. I, сц. II)” (Ашукин Н.С., Ожегов С.И., Филиппов В.А. Словарь к пьесам А.Н. Островского. Репринтное издание (с вышедшего издания 1948 г.) М., 1993. С. 168).

Смысл этого многозначного слова применительно к данному кон-

тексту хорошо раскрыт в академическом “Словаре церковно-славянского и русского языка, составленном Вторым отделением имп. Академии наук” 1847 года:

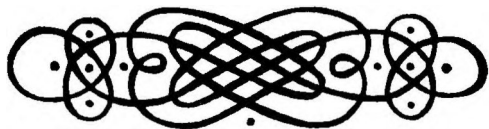
“**При́став**, а, с.м. 1) Приставленный для надзора, или смотрения за кем- или за чем-либо; надсмотрщик, караульный {...}” (т. III, СПб., 1847. С. 493).

В “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля у многозначного слова *пристав* с основным значением “надсмотрщик, надзиратель, смотритель, вообще должностное лицо, приставленное к чему-либо” (т. III. М., 1955. С. 445) правильно выделяется стар(инное) значение “караульный, конвойный” с речением “*отдать кого за пристава, под стражу*”.

Как видим, здесь приводится сходное по смыслу и по форме выражение со словом *пристав*, близкое к тем, которые верно истолкованы в БАС при неправильно поданной и поясненной форме ключевого слова *пристав*, вместо которого появилось совершенно невероятное, призрачное слово *приста́ва*.

Грубая ошибка составителей Большого академического “Словаря современного русского литературного языка” не осталась без последствий. Единожды допущенная ошибка при попадании в авторитетное издание начинает тиражироваться доверчивыми лексикографами при механическом переписывании в процессе создания других материалов. Несуществующее в русском литературном языке слово *пристава* попало в “Обратный словарь русского языка” (М., 1974. С. 16), “Словобразовательный словарь русского языка” А.Н. Тихонова (т. II, М., 1985. С. 160, 729) и академический “Сводный словарь современной (!) русской лексики” (т. 2. М., 1991. С. 236).

Эти словари не учитывают слова народного языка типа свердловского (среднеуральского) *приста́ва* “нижняя часть рубашки, сшитой из холста”, зафиксированного в “Словаре русских говоров Среднего Урала” (т. IV. Свердловск, 1983. С. 135), откуда его позаимствовал сводно-академический “Словарь русский народных говоров” (вып. 31, СПб., 1997. С. 400), поэтому слово *пристава*, зафиксированное в них, должно быть вообще вычеркнуто из словарей, чтобы оно никогда не вводило в заблуждение.



ГОРКИ АМЕРИКАНСКИЕ ИЛИ РУССКИЕ?

Л.А. БАРАНОВА,
кандидат филологических наук

Данная статья является своего рода продолжением опубликованных в "Русской речи" статей С.Л. Сахно «Что называют "русским" русские и иностранцы?» (1992. № 2) и С.М. Беляковой «Ещё раз о том, что называется "русским" и о китайской грамоте» (1999. № 1), затрагивающих проблему, которая была сформулирована С.М. Беляковой как "соотношение языка и национального самосознания", что, на наш взгляд, требует некоторого уточнения. Ведь национальная принадлежность "присваивается" какому-либо предмету или явлению обычно не самой этой национальной общностью, а чаще всего инонациональным, инокультурным, иноязычным социумом, для её установления необходим взгляд со стороны, сравнение. Следовательно, речь в указанных публикациях идет не столько о национально-языковом самосознании, сколько об отраженном в языке определении национальной принадлежности отдельных предметов и явлений в процессе межкультурной и межъязыковой коммуникации.

Кроме того, за рамками опубликованных статей остался целый ряд устойчивых словосочетаний со словом *русский* или другими географическими определениями, связанными с Россией (*сибирский, московский*) в основных европейских языках. На их материале может быть рассмотрено ещё одно, на наш взгляд, достаточно спорное утверждение.

Бытует мнение (оно, в частности, отражено и в статье С.М. Беляковой) о невысокой частотности словосочетаний со словом *русский* в других языках. Насколько оно оправданно, попытаемся проверить на материале английского, немецкого, французского и испанского языков, анализируя данные словарей, язык прессы и живую речь носителей данных языков.

Диапазон тематических групп такого рода сочетаний не очень широк (это отмечалось и в указанных статьях), сюда входят некоторые терминологические сочетания, несколько тематических подгрупп, которые в целом можно определить как историзмы и этнографизмы, а

также ряд словосочетаний, которые мы условно обозначим как символы-стереотипы.

В одном из наиболее полных и подробных толковых словарей английского языка, изданном в США, "Random House Webster's unabridged Dictionary. 2nd Edition – New York, 1997" представлена достаточно большая группа английских устойчивых словосочетаний, включающих определения *русский, сибирский, московский*, в том числе, термины: зоологические (Russian wolfhound – русская борзая, Siberian husky – сибирская лайка, Siberian mammoth – сибирский мамонт), геологические Siberian ruby – дословно "сибирский рубин" – минерал красный турмалин), ботанические (Russian dandelion – дословно "русский одуванчик" – кок-сагыз; Russian olive – досл. "русская олива" – дикая маслина, лох узколистный; Russianthistle или Russian tumbleweed – перекати-поле, дословно "русский чертополох", однако то растение, которое у нас известно как чертополох, в Америке и Канаде называют "шотландским чертополохом"; Siberian larkspur, Siberian squill, Siberian wallflower – названия дикорастущих цветов; Siberian crabapple – сорт очень мелких яблок, называемых у нас ранетками, действительно очень распространенный в Сибири), технологические (например, название определённого способа выделки и обработки кожи – Russian leather – досл. "русская кожа" – юфть, а вот Morocco leather – "марокканская кожа" – это сафьян).

Группа представленных в словаре историзмов не очень многочисленна: Russian revolution – термин, включающий как Октябрьскую, так и Февральскую революции 1917 г. в России, Russian zone – территория бывшей Восточной Германии, Russian Church – Русская православная церковь.

Среди этнографизмов наиболее многочисленную и разнообразную группу представляют названия блюд и напитков. И если такие сочетания, как "русская водка", "русская икра" имеют вполне адекватные по смыслу соответствия в других языках, то некоторые блюда и напитки, названные "русскими" в разных языках, весьма отличаются друг от друга или от своего русского прототипа, либо такого прототипа вообще не имеют.

Например, что такое "русские огурцы"? Можно было бы предположить, что это излюбленная в России закуска – солёные огурцы. Однако "русскими" во французском (cornichons a la russe) и "московскими" в немецком (Gurken Moskauer Art) языках называются не солёные, а острые маринованные огурцы (обычно корнишоны).

Упомянувшееся в статье С.М. Беляковой блюдо "русские яйца" известно под этим названием не только в чешском языке. В немецком это название может обозначать как упомянутые яйца под майонезом, так иногда и яйца с икрой.

Как известно, большим успехом у приезжающих в Россию иностранцев пользуется ржаной хлеб. Нечто похожее сейчас можно встретить и

в других странах. Именно такой – темный, кисловатый по вкусу хлеб иностранцы обычно называют русским хлебом. Но вот в Германии, например, “Russische Brot” (“русский хлеб”) – это вообще не хлеб, а традиционное название очень твёрдого сладкого печенья, тёмно-коричневого цвета, в форме букв. Известно в Германии и ещё одно “русское” хлебобулочное изделие – “Russische Kränzchen” (“русские веночки”) – небольшие плетёные крендели.

Но наиболее известным за рубежом “русским” блюдом является, безусловно, “русский салат” – разного рода вариации салата из вареных овощей, чаще всего под майонезом. В статье С.Л. Сахно отмечалось, что этот салат, известный во Франции и в англоязычных странах, представляет собой “примерно то, что мы называем красивым иностранным словом “Оливье”. Следует, однако, добавить, что словосочетание “русский салат” широко известно не только во французском (*la salade russe*), английском (*Russian Salade*), но и в немецком (*Russische Salat*), испанском (*Ensaladilla rusa*) и, возможно, в ряде других языков. Впрочем, оба названия вполне закономерны. Салат по праву называют в других странах русским, так как он (точнее, его прототип) был изобретён в XIX веке в России. Известное же в России название “Оливье” – это не просто “красивое иностранное слово”, а фамилия изобретателя салата. «Салат, во всем мире называемый “Русским”, а у нас “Оливье” изобрёл француз Люсьен Оливье. В середине XIX в. держал трактир “Эрмитаж” (Петровский бульв., 14, угол Неглинной). Похоронен в Москве на Немецком (Введенском) кладбище... В настоящее время рецепт салата очень изменился, первоначальный рецепт повар никому не раскрыл» (Огонёк, 1998, № 51–52. С. 62–63).

Следует заметить, что традиция называния блюд именами или фамилиями их создателей (либо хозяев поваров-изобретателей) отнюдь не нова в мировой кулинарии. Встречаются среди них и имена россиян. Вспомним хотя бы всемирно известное блюдо беф-строганов. Кстати, в том же американском словаре помимо блюда *Stroganoff* упоминается ещё одно – *Nesselrode* – десерт из консервированных фруктов в орехах – блюдо, как указывается в пояснении, изобретённое шеф-поваром графа К.Р. Нессельроде – российского дипломата и государственного деятеля (оба эти названия, как отмечается в словаре, появились в английском языке ещё в XIX веке).

Что же касается “Русского салата”, то в Америке и в Канаде запрашивают его чаще всего не майонезом, а специально приготовленным соусом, называемым *Russian dressing* (русская приправа или русский соус), причём рецептура этого соуса весьма произвольна. Так, в упомянутом американском словаре это словосочетание толкуется как название острого соуса, включающего майонез, соус чили или кетчуп, пряности и мелко нарезанные маринованные огурцы. Если же мы заглянем в одну из поваренных книг (“*Better homes and gardens. New Cook Book*”. –

Bantam Books: Toronto–New York–London–Sydney, 1982), то обнаружим под тем же названием совершенно иной состав: салатное масло, кетчуп, лимонный сок, вустерширский соус, уксус, мелко нарезанный лук, соль, сахар, перец. Впрочем, и в том и в другом варианте компоненты этого так называемого “русского” соуса настолько экзотичны для традиционной русской кухни, что это название воспринимается скорее не как имеющее какое-либо отношение к России, а как некое условное наименование любого вида острой приправы для овощного салата, традиционно именуемого “русским”.

В завершение темы блюд и напитков хотелось бы упомянуть ещё об одном курьёзном наименовании. В том же американском словаре можно обнаружить несколько странное словосочетание *Moscow mule* (“московский мул”). Оно оказывается названием коктейля, традиционно подаваемого в медной кружке и состоящего из водки, лимонного сока и имбирного пива. Можно предположить, что слово *мул*, обозначающее помесь осла и кобылы, появилось в названии коктейля как символ некоей смеси, а определение *московский* – по причине наличия в нём русской водки. А вот в Москве, по некоторым данным, похожий по составу напиток называют “Камикадзе”.

Помимо перечисленных групп в иностранных языках встречаются и словосочетания, отражающие некоторые стереотипы восприятия и ставшие своего рода символами: *сибирский мороз* (*frio siberiano* – исп., *Sibirische Kälte* – нем.) – сильные холода; *русская душа* (*Russian soul* – англ., *Russische Seele* – нем.) – собирательное представление о загадочности, непостижимости русского национального характера (так, например, английский актер Рэйф Фанс, исполнитель заглавной роли в снятом в Англии фильме “Евгений Онегин”, заявил в интервью: “Я англичанин и слышал о таком явлении, как загадочная русская душа, но, видимо, нам, иностранцам, надо потратить целую жизнь, чтобы понять, что это такое”. – Комс. правда. 1999. 2 июня; *русский медведь* (*Russian Bear* – англ., *Russische Bär* – нем.) – несколько пугающий обобщённый образ России, русского народа. Весьма оригинальную трактовку происхождения последнего выражения предложил недавно М. Крушинский – ведущий лингвистической рубрики “Верблюды” в газете “Комсомольская правда”. Он обращает внимание на созвучие корня *рус-* с латинским словом *urs* – “медведь”, но происхождение выражения связывает с переведённой на романские языки аббревиатурой названия страны: «URSS – это СССР. На всех романских языках, если отбросить артикли, слово, которое за ничтожным различием пишется и стопроцентно читается на тех же языках как медведь. И как же прикажете называть жителей страны с таким забавным названием? Тут уже даже не анаграмма. Известно ведь, что на Западе стереотипно именовали “русскими” всех “советских” людей. “Почти медведи”, населяющие чуть-чуть не “Медведию”, совокупно же натуральный “медведь”» (Комс. правда.

1999. 21 авг.). Предположение, безусловно, смелое, однако вызывающее некоторые сомнения. Во-первых, сочетание “русский медведь” известно не только в романских, но и в других (например, германских) языках, где данная аббревиатура имеет несколько другой вид. Во-вторых, возникло оно, вне всякого сомнения, значительно раньше 1922 года. В-третьих, образ медведя обусловлен скорее не лингвистическими, а разного рода экстралингвистическими ассоциациями.

Но наиболее известным из таких выражений можно назвать словосочетание *русская рулетка* как символ рискованной ситуации, беспышной игры с опасностью, даже со смертью. В статье С.М. Беляковой отмечалось, что данный фразеологизм известен не только в русском, но и в английском языках (Russian Roulette). Следует добавить, что помимо русского и английского языков это выражение известно и широко используется также во французском (*la roulette russe*), испанском (*ruleta rusa*), немецком (*Russische Roulette*) и, возможно, в других языках. Оно зафиксировано в словарях английского, немецкого, французского, испанского языков, но при этом автору не удалось обнаружить это выражение в русских словарях, хотя оно активно используется как в разговорной речи, так и в языке прессы: «После погружения связи нет, предупредить невозможно. Откуда выпрыгнет ракета – полная неизвестность, истинная “русская рулетка”» (Лит. газета, 1998. № 37).

Но вот персонажи опубликованной недавно повести Б. Акунина “Азазель”, действие которой происходит в прошлом веке, употребляют для обозначения ситуации риска, игры со смертью другой вариант словосочетания – “американская рулетка”: «... он не просто застрелился, а через “американскую рулетку” ... Знаете, что это такое? – Известное дело, – пожал плечами Ипполит. – Берёшь револьвер, вставляешь патрон. Глупо, но горячит. Жалко, что американцы, а не наши додумались... Кокорин где-то про американскую рулетку прочитал, понравилось ему. Сказал, из-за нас с тобой, Коля, её в русскую переименовуют, вот увидишь» (Огонёк. 1998. № 1). Что это – найденный в результате историко-этимологического исследования вариант фразеологизма *русская рулетка* или творческий домysel писателя? На наш взгляд, более вероятно второе. Во всяком случае, нам не известны другие случаи употребления подобного варианта. Что же до времени появления выражения “русская рулетка” в английском языке, то словари относят его к интервалу между 1935–40 годами.

Существует ещё одно (тоже в определённой степени связанное с русским) выражение, в котором как бы “состязаются” определения *русский* и *американский*, – это название одного из парковых аттракционов, известного у нас под названием *американские горки*: “Нам же обязательно надо было на американских горках вниз головой прокатиться... Конечно, на американских горках дух захватывает. Мёртвая петля опять же. Почувствуй себя Нестеровым! Зато после американок ка-

тание с водных горок на лодках уже не впечатляет: и крутизна не та, и скорость” (Огонёк. 1998. № 22). Однако под таким названием этот аттракцион известен только в русском языке. В самой же Америке данное выражение не известно, сейчас этот аттракцион чаще всего называется там roller-coaster, но в разговорной речи используется и другое название – “Russian Mounts” – “русские горки”. Под названием “русские горки” подобный аттракцион известен также во Франции (les montagnes russes) и в Испании (montaña rusa).

Таким образом, можно утверждать, что круг предметов и явлений, называемых “русскими” в основных европейских языках, довольно обширен. Поэтому утверждение о невысокой частотности таких словосочетаний в других языках вряд ли можно считать достаточно обоснованным. Словосочетания с “национальным” определением вообще не очень частотны, и по сравнению с другими подобного рода определениями частотность сочетаний со словом “русский” одна из наиболее высоких.

*Украина,
Симферополь*



V Поливановские чтения в Смоленске

16–18 мая 2000 г. в Смоленском государственном педагогическом университете состоялись V Международные Поливановские чтения, посвященные памяти выдающегося лингвиста современности, смолянина, крупного общественного деятеля 20–30-х гг. Евгения Дмитриевича Поливанова.

О судьбе ученого, чья жизнь трагически оборвалась в 1938 году и чье имя было надолго вычеркнуто из истории науки, в последние годы писалось немало, хотя значение его трудов и научных открытий еще до конца не осознано нами, его потомками. Чтения, которые проводились на родине языковеда уже в пятый раз, призваны способствовать возврату доброй памяти о человеке, так много сделавшем для русской и мировой науки, возрождению интереса к его творческому наследию, содержащему целый ряд идей, надолго опередивших свое время. Е.Д. Поливанов ушел из жизни в неполные 47 лет, и, конечно же, эта потеря невосполнима. Но то, что сделано талантливейшим ученым, не должно быть забыто: уничтоженные страницы прошлого необходимо восстановить.

V Поливановские чтения собрали широкий круг участников: программа включала 124 доклада и сообщения. Это труды ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Казани, Череповца, Красноярска, Твери, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Владимира, Ельца, Саранска, Владивостока, Тамбова, Ярославля, Уфы, Новгорода Великого, Рязани, Сергиева Посада, Воронежа. Чтения давно уже приобрели статус международных: среди участников были представители Минска, Витебска, Могилева, Киева, Донецка, Симферополя, Вильнюса, Бишкека, Берлина. В рамках Чтений проявилось сотрудничество лингвистов и историков.

К конференции изданы четыре тома материалов, общий объем которых составляет около 900 страниц. В статьях рассмотрены самые разноплановые вопросы, так или иначе обозначенные в трудах Евгения Дмитриевича. Именно в свете направлений, по которым велись исследования самого Поливанова, были представлены доклады на двух пленарных заседаниях и в четырех секциях: “Общие вопросы языкознания и социолингвистика”, “История языка и диалектология”, “Во-

просы лексиграфии, грамматики и методики”, “Слово в тексте”. Такая широкая тематика чтений обусловлена богатством творческого наследия ученого: он занимался и диалектологией, и историей языков, и лексикой, и фразеологией, и социолингвистикой (Евгений Дмитриевич одним из первых заинтересовался этой областью языкознания), и вопросами грамматики.

Ученый был замечательным методистом: лишь в последние годы возрождается методическое наследие Е.Д. Поливанова, которое было почти забыто, а некоторые его идеи обучения русскому языку нерусских, выдвинутые еще в 30-е годы, оказались с успехом осуществленными за рубежом.

Е.Д. Поливанов занимался различными вопросами языкознания на материале не только русского, но и других языков (Евгений Дмитриевич был уникальным полиглотом). В частности, имя Поливанова – в числе первых среди мировых востоковедов. Подобный широкий языковой фон позволил объединиться лингвистам, изучающим русский, белорусский, украинский, польский, английский, немецкий, французский, татарский и другие языки, что, безусловно, способствовало укреплению содружества ученых, а это так важно в наше время.

В заключение отметим, что Поливановские чтения в Смоленске в этом году проводились при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, за что все участники выражают глубокую благодарность Совету фонда. Чтения стали для смолян уже доброй традицией: они проводятся регулярно раз в два года. В 2002 году мы приглашаем всех лингвистов и историков, работающих в русле проблем, отраженных в трудах Е.Д. Поливанова, и занимающихся изучением жизни и деятельности выдающегося языковеда XX столетия, принять участие в VI Поливановских чтениях, в поддержку нашей памяти о “самом обыкновенном гениальном человеке” (В. Шкловский).

И.А. Королева,
Председатель оргкомитета
V Поливановских чтений
Смоленск

**Тематический указатель статей,
опубликованных в журнале “Русская речь”
в 2000 году**

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Авилова Н.С. Об одном стилистическом приеме А.П. Чехова	6
Авилова Н.С. Речевые портреты в пьесе Л.Н. Толстого “Плоды просвещения”	3
Амелькин А.О. “Смирренный грешник, Дмитрий Ларин...”	3
Бельская Л.Л. Пушкинские эпитафии в русской поэзии.....	1
Гапоненко П.А. О языке поэмы А.Н. Майкова “Странник”	6
Глухов В.И. Игровое начало в стиле журнала “Трутень”	2
Глухов В.И. Сумароковский “след”... в “Мертвых душах” Гоголя...	5
Грачева И.В. Глубины чеховского слова	3
Далакторская О.Г. Крокодил в “Крокодиле” Ф.М. Достоевского (О смысловых значениях образа-символа).....	4
Каргашин И.А. “Песни с декорацией”, или Русский стихотворный сказ	4,5
Лекманов О.А. Единица–ноль	1
Лекманов О.А. Алексей Михайлович Малютин (Комментарий к “Легкому дыханию” И. Бунина).....	5
Лекманов О.А. Николай Гумилев в “Реквиеме” Анны Ахматовой..	3
Лекманов О.А. Обыкновеннейший крокодил!	4
Матвеев Б.И. “...Мухе зла не сделает!” (Разговорно-бытовые фразеологизмы в прозе Салтыкова-Щедрина).....	4
Матвеев Б.И. Приемы изображения в повести Н.В. Гоголя “Невский проспект”.....	2
Медриш Д.Н. Время и пространство в незавершенном романе А.П. Чехова.....	1
Меламед С.Л. Лексические средства и национальный колорит в романе Ф. Искандера “Сандро из Чегема”	6
Мельникова С.В. О “лексическом расширении” А.И. Солженицына	1
Николаева А.В. О “Москве Краснокаменной” М.А. Булгакова	3
Новиков Л.А. Повесть без героя (Развитие образа в художественном тексте)	5

Попов О.П. Чего хочет “жалкий человек” (Опыт анализа сочинений Н.С. Мартынова)	4
Савенкова Л.Б. “...Взять и додумать до самого конца” (О рассказе Виктории Токаревой “Кошка на дороге”).....	2
Судаков Г.В. Звук и слово в поэзии Клюева	5
Удалых Г.Д. Дипломаты и дипломатия в романе Л.Н. Толстого “Война и мир” (Стилистические приемы изображения)	6
Чуглов В.И. “И кстати я замечу в скобках...”	3
Явинская Ю.В. Семантика <i>вещи</i> у В. Хлебникова и М. Цветаевой ..	2

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Из наследия Ф.А. Степуна	2
Из творческого наследия Д.А. Шаховского	5
Легенда о душе бражника, рассказанная Ф.И. Буслаевым.....	1
Стихотворения Раисы Блох.....	6

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

Языковая политика в школе на пороге XXI века	4
--	---

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Балакай А.Г. Что мы говорим, когда говорим: “ничего”	4
Белякова С.М. Три века	3
Головина Э.Д. Цицероном быть обязан! (О культуре речи в деловом общении)	3
Еськова Н.А. Заставь дурака... (Еще раз о <i>Боге</i> и <i>боге</i>).....	1
Заварзина Г.А. Без идеологических наслоений (Общественно-политическая лексика на исходе XX века)	6
Зеленин А.В. Новое о словах <i>интеллигент</i> , <i>интеллигенция</i>	4
Зеленин А.В. <i>Полуинтеллигент</i>	5
Зеленин А.В. Холокост	2
Красных В.И. <i>Жизненный</i> или <i>житейский</i> ?	1
Красных В.И. <i>Жилищный</i> или <i>жилой</i>	2
Красных В.И. <i>Решительный</i> или <i>решающий</i> ?	4
Красных В.И. <i>Специальный</i> или <i>специализированный</i> ?	5
Красных В.И. <i>Ценный</i> – <i>ценностный</i> – <i>ценовой</i>	3
Крысин Л.П. Заметки об иноязычных словах (<i>планёр</i> , <i>гексаген</i> , <i>имейл</i>).....	3
Крысин Л.П. Заметки об иноязычных словах (склоняется ли слово <i>Интернет</i> ? Что такое <i>миллениум</i> ?).....	6
Крысин Л.П. Русский литературный язык на рубеже веков.....	1
Хан-Пира Эр. <i>Родина</i> и <i>государство</i>	5
Ширшов И.А. <i>Питать</i> и <i>кормить</i>	6

Ялымова Е.Б. Существительное или наречие?.....	6
<i>Язык прессы</i>	
Клушина Н.И. О модном способе окказионального словообразования.....	2
Муравьева Н.В. Легко ли создать новое слово?	1
Муравьева Н.В. Язык телевидения – язык улицы?.....	3
Николаева А.В. К счастью... пострадали только читатели.....	1
Подчасов А.С. Дезориентирующие заголовки в современных газетах	3
<i>Язык рекламы</i>	
Горожанкина Л.В. “Предлагаем бизнес-организаторы из натуральной кожи”	1
Клушина Н.И. Композиция рекламного текста	5
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ	
Борковский Виктор Иванович (1900–1982).....	2
Ожегов Сергей Иванович (1900–1964)	5
Преображенский Александр Григорьевич (1850–1918).....	6
Реформатский Александр Александрович (1900–1978)	5
ИЗ АРХИВА УЧЕНОГО	
Из эпистолярного наследия Р.О. Якобсона	4
Несколько писем Л.В. Щербы	3
ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ	
Астахина Л.Ю., Державина Е.И. История создания Картотеки древнерусского словаря.....	2
Багрянцева Г.И. “...В пользу сельского домостроительства” (Языковые особенности работ по земледелию А.Т. Болотова).....	4
Богатова Г.А. “Словарь русского языка XI–XVII вв.” – фундаментальный труд XX века	2
Горская Е.В. Рукописи Псковского скриптория начала XIV века	5
Демьянов В.Г. К истории слова <i>Москва</i>	1
Июльская Е.Г. “...И сведоих в сон тонок...” (Образ тайнозрителя в видениях инока Епифания).....	6
Калугин В.В. Исповедь земле у Ивана Шмелева.....	4
Каргина Н.Г. Наименование обуви в русском языке	6
Кузнецова Т.Н. Автор и читатель житий (К кому обращались в своих произведениях Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет)	5
Маркелов В.С. Письма Агафьи Лыковой.....	3
Трофимова Н.В. “И придоша здрави вси...” (О воинском повествовании в Новгородской I летописи)	1
Удалых Г.Д. <i>От агента до дипломата</i>	3

Филатова Н.А. Сутки и никтемерон (О некоторых закономерностях употребления слов одинакового значения).....	6
<i>Из истории политического лексикона XX века</i>	
Зеленин А.В. Эмиграция	1
Зеленин А.В. Эмиграция глазами эмиграции	3

ОНОМАСТИКА

Комлева Н.В., Судаков Г.В. Владимир – Waldemar.....	6
Королева И.А. Диалектные фамилии.....	1
Майоров М.В. Как называл себя А.Т. Болотов?.....	5
Суперанская А.В. Как изменить фамилию не меняя ее?.....	4
Суперанская А.В. А.В. Сулова – исследователь имен и фамилий... <i>Топонимика</i>	2
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России	1–6

РУССКИЕ ГОВОРЫ

Мороз А.Б. “Чтоб ты лихая немочь изняла!”	1
--	---

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА. ПИСАТЕЛЬ И ФОЛЬКЛОР

Азбелев С.Н. Исторические песни русских солдат	1
Азбелев С.Н. Народная поэзия о гибели императора Александра Второго.....	4
Золотов Ю.М. “Любимец публики”	3
Зуева Т.В. Древнеславянская версия сказки “Чудесные дети” (“Перевоплощения светоносных близнецов”).....	2–3
Коршуников В.А. “Весела, как вешний жавороночек” (Обрядовая подоплека устойчивого сравнения).....	2
Медриш Д.Н. Пушкинский образ в контексте народной культуры..	5
Токарева Г.А. “Целомудренная проза” (Особенности символизации в прозе Пришвина).....	1
Хафизова Л.Р. Баю-баюшки, не ложись на краюшке (О смертных “байках”).....	6

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Алексеев А.В. Английский <i>сплин</i> и русская <i>хандра</i>	2
Попова Е.А. “Авось, о Шиболет народный...”	6
Стародубова О.Ю. <i>Галиматья</i>	4
Тараканова С.В. Мал <i>золотник</i> , да дорог	2
Шустов А.Н. На чем человек перемещается в воздухе.....	3,5
Шустов А.Н. О чиновниках и бюрократах	1

За знакомой строкой

Валеев Г.К. Читая Пушкина: "...там люди, в кучах за оградой"	4
Ильяшенко Т.А. <i>Армафейский вечер</i>	5
Ковалева Е.В. Гуттаперчевые пилюли полшкипера	3
Коршунков В.А. Колдовские глаза и "мальчики в глазах"	3
Хан-Пира Эр. <i>Живой труп и мертвые трупы</i> у Пушкина и Толстого	4
Щурова И.В. Белый <i>шлагфрок</i> и пунцовый <i>фуляр</i>	4

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

Чупашева О.М. Одушевленное – всегда ли живое?	1
--	---

СРЕДИ КНИГ

Еськова Н.А. Хорошо ли мы знаем Пушкина?	1
Колесов В.В. "Жизнь происходит от слова..."	6
Королева И.А. Происхождение фамилий и отчеств на Руси	3
Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения	2
Тысяча лет русской истории в преданиях, легендах, песнях	6

ХРОНИКА

4-я Международная конференция по риторике	4
V Поливановские чтения в Смоленске	6

ПОЧТА "РУССКОЙ РЕЧИ"

Баранова Л.А. Горки американские или русские?	6
Добродомов И.Г. Об одной ошибке в словарях	6
Еськова Н.А. Еще раз о глаголе <i>воять</i>	5
Еськова Н.А. Какую роль сыграл Сталин в истории языкознания?	4
Колесников Н.П. И вновь о языковых стразах	5
Костинский Ю.М. Не проходить мимо!	3
Муравьева Н.В. "У настенного пособия"	2
Подчасов А.С. "Кэмел трофи" по-русски	4
Стародубова О.Ю. "Мантифолия", или несколько слов о природе чеховского юмора	1
Туманова О.Т. Не надо забывать русские названия растений	3